

*Николай ШМЕЛЕВ*

**Деяния**  
**апостолов**

*ПОВЕСТЬ*

И тот, и другой — оба они были молоды и неутомимы, и найти его для них было, конечно, только лишь вопросом времени. Но, правда, при одном, и существенном, условии: если тот, кого им надлежало найти, был еще жив, здоров, а недавно похоронен уже, не дай Бог, где-нибудь на заброшенном кладбище или у большой дороги, без имени и без креста.

Тифлис — огромный город, и человек в нем что иголка в стоге сена. Но даже и иголку, если иметь терпение, можно найти. А уж такого известного в городе человека, как живописец Нико Пиросманашвили, которого знает каждый духанщик, каждый дворник, каждая «барышня» из любого мало-мальски приличного заведения... Им, двум молодым, сообразительным парням с крепкими ногами и полной свободой тратить день, как заблагорассудится, им — и не найти? Главное — решиться найти. А там — от подвала к подвалу, от человека к человеку, по всем местам, где люди знали Нико, видели Нико, где его помнят и любят и где каждый всегда считал за честь поделиться с ним куском хлеба и поднять вместе с ним стакан вина... И, естественно, не отступаться! Ни в коем случае не отступаться и не впадать в отчаяние, если найденный след вдруг оборвется или выведет совсем не туда и не на тех людей, которые могли бы им указать, где же все-таки в эту трудную зиму сурового, тревожного 1916 года скрывается Нико.

Декабрь в Тифлисе — ненадежный, плохой месяц: может быть и тепло, как весной, а может быть и такая мразь, такой пронизывающий до костей холод, что отдашь последнюю копейку, только чтобы не месить грязь ногами, не подставлять лицо и грудь сырому, порывистому ветру, а

сесть, как все добрые люди, в трамвай или на извозчика и спокойно, не спеша, ехать себе и ехать, натянув на глаза шляпу и сунув нос в теплое, плотно обмотанное вокруг шеи кашне.

Впрочем, последнюю копейку — это, разумеется преувеличение. Ни Ладо Гудиашвили, ни Михаил Чиаурели не были, конечно, по тифлисским меркам, богатыми людьми — они были молодыми, начинающими художниками и, как и полагается молодым художникам, с деньгами у них нередко было весьма туговато, особенно если почему-либо ни тому, ни другому ничего не перепало вовремя от родных. Да, конечно, нередко и они сидели на мели. Но все же не до такой степени, чтобы не иметь возможности при нужде нанять для себя на день — на два извозчика и фазтон с откидным верхом, подняв который можно было бы хоть как-то спрятаться от этого назойливого, пополам с мокрым снегом дождя.

## I

Истинный грузин всегда был и будет прежде всего человеком чести, и найти Нико было теперь делом чести для обоих молодых людей. Только-только образовавшееся общество грузинских художников, наметившее в конце этого декабря провести свое первое учредительное собрание, поручило им разыскать в подвалах и винных погребах города Нико Пиросмани и, во-первых, вручить ему от имени общества небольшую (скорее чисто символическую) сумму денег на еду и на краски, а во-вторых, что было еще важнее, обеспечить его обязательное присутствие на предстоящем собрании. Инициативный комитет справедливо выступал за максимально представительный характер создаваемого общества, по крайней мере на данном, учредительном его этапе, а Нико Пиросмани был тогда, вне всякого сомнения, самой спорной и в этом смысле самой яркой фигурой среди тифлисских живописцев: гордостью грузинского искусства, по мнению одних, и его позором, убедительнейшим свидетельством его деградации — по мнению других.

Пожалуй, больше всех в Тифлисе о Нико знали открывшие его еще несколько лет назад братья-студенты Илья и Кирилл Зданевичи и их друг Сигизмунд Валишевский. Это они скупили все вещи Нико, какие только можно было отыскать в духанах и винных подвалах на Майдане, у вок-

зала, в Нахаловке, в Сабуртало, в Ортачала, это они заставили газеты писать о нем, и они же впервые показали его картины и вывески в Москве и Петербурге, где и профессионалы, и просто люди, сохранившие еще способность видеть мир непредвзято, таким, каким он есть, сразу признали и оценили Нико. Всего два-три месяца назад здесь, в Тифлисе, Илья Зданевич устроил у себя на квартире в Кирпичном переулке (где все комнаты от пола до потолка были увешаны работами Нико) первую его выставку, вызвавшую немалый шум и, по правде говоря, немалый скандал. Устроил по всем правилам: с отпечатанными билетами, с приглашением всего города, с критикой в газетах... Да и скандал был действительно немалый — великолепный, красочный скандал, с бранью, криками, отрыванием пуговиц друг у друга! Такой теперь вряд ли уже забудется когда... Нет, конечно, отныне что бы ни случилось — эти десятки замечательных, может быть, лучших работ Нико не пропадут, им уготована долгая жизнь, и потомки когда-нибудь, несомненно, будут в полный голос славить его имя и вспоминать с благодарностью тех, кто спас это имя от забвения и сохранил его для людей.

Да, но все-таки... Работы, конечно, работами. Все это так... Но сам-то он где? Что с ним? С какого конца Тифлиса, с каких людей надо начинать его искать? И есть ли вообще сегодня хоть кто-нибудь в этом городе, кто знает что-либо достоверное о нем?

Братья Зданевичи, к сожалению, еще осенью уехали из Тифлиса, никто же другой из их семьи и из их окружения так и не смог ответить им ничего определенного на этот вопрос. Как выяснилось, все они уже давно и безнадежно потеряли след Нико, утешаясь, впрочем, мыслью о том, что так или иначе, но главное все же было сделано: многие вещи его они уже спасли и, даст Бог, еще найдут их немало и еще спасут, а что касается его самого... Его? А что его? Что могут люди, если он сам бежит от них, если он никогда никого и ни о чем не просит, если ему на самом деле и не нужен никто? Кормится как-то, где-то спит, где-то пишет свои поразительные черные клеенки — ну и слава Богу! У великих людей своя дорога, свой путь, и судьба их решается не нами, не здесь — она решается на небесах.

Один только седовласый Мосе Тоидзе, признанный метр среди тифлисских художников, с первого взгляда и к ужасу всех других столь же модных, как и он, живописцев признавший в Нико мастера, — один только он, Тоидзе, вспомнил,

что, когда он еще в начале лета просил привести к себе Нико, его разыскали где-то в закускойной в Авлабаре, на левом берегу Куры. Но что это была за закускойная, как она называлась — Тоидзе, как ни силился, вспомнить уже не мог. А сколько таких закускойных в одном Авлабаре, не говоря уже о всем Тифлисе? Десятки? Сотни? Тысячи? И кто их когда считал?

Однако Авлабар удалось исключить почти сразу. Саркис, грузный добродушный армянин, известный в округе виноторговец — известный, между прочим, и тем, что он никогда, ни в хорошие, ни в худые времена не разбавлял вино, которое подавалось в его подвале, — сказал им, поглаживая свои когда-то, наверное, роскошные, а теперь сивые от седины, опустившиеся книзу усы:

— Нет, господа хорошие! Нет его здесь. Не ищите его в Авлабаре. Здесь его уже давно не видел никто... Было время, когда он жил здесь. Жил и у меня. Он написал тогда, как я разливаю вино. Замечательно написал! И я настоящий, и вино настоящее. Но это было давно... Где искать? Не знаю, молодые люди. Не знаю. В Солولاки не ищите, там богатые люди живут. Там его не любит никто. В Ортачала тоже не ищите. Война, все веселые дома закрыты. Кто его там будет кормить? И на Майдане не ищите — какая теперь торговля, какие доходы? Все война забрала. Не до картин теперь никому. А задаром, Христа ради, теперь не прожить. Даже и ему... Народ обнищал, озлился, торговли нет... А, Нико, Нико! Святой человек, плохо ему на земле... Слишком людей любит. За что их так любить? Я вам скажу, молодые люди: не стоят они того, чтобы их так любить...

Пока они сидели в подвале у Саркиса, дождь, поливавший в тот день с утра, перестал. Но это было явно ненадолго: все-таки и сюда, в этот от рождения своего избалованный матерью-природой город, тяжело перевалившись через Кавказский хребет, пришла, наконец, зима. Темное, набухшее дождем и снегом небо нависло над самыми его крышами, цепляясь за печные трубы рваными лохмотьями облаков и скрывая в серой мгле и Метехский замок над Курой, и другой, высокий берег, где на спуске с горы кто-то заботливый уже зажег, несмотря на ранний час, уличные фонари. Колеса фазтона, скользя по булыжнику и вихляя из стороны в стороны, медленно тряслись по ухабистым, плохо мощенным улицам Авлабара, сбегавшим вниз к реке. Извозчик то и дело туго натягивал вожжи, притормаживая на по-

воротах, и, не очень-то, видимо, доверяя нраву своей лошадки, беззлобно покрикивал на нее на той смеси чистокровного русского мата и цветистого грузинского языка, на который обычно изъяснялись тогда в Тифлисе люди его профессии.

Все дальше и дальше катился фазтон, все глубже и глубже втягивал двух друзей старый Тифлис в свое сплетенье улиц и переулков... Белые стены одноэтажных и двухэтажных домов, плоские крыши, витиеватые веранды и балкончики, сплошь увитые голой виноградной лозой, аккуратные крылечки, крытые крашеным железом, могучие и тоже голые в это время года деревья во дворах, вывески, фонари, винные подвалы, мокрые афишные тумбы на перекрестках, мелодичный звон трамвая, ползущего где-то там, внизу... О, как знакомо все это было им обоим! И как чувствовали, как любили они этот город — его душу, его запахи и звуки, его тихую мелодию, сопровождающую человека от колыбели и до самых его последних дней. Что значит холод, что значит дождь и снег, если можно еще раз — который уже в жизни — проехать этот город из конца в конец, тесно прижавшись друг к другу на сиденье фазтона и лениво, медленно, будто сквозь дрему, поглядывая по сторонам... Великий город! Колдовской город! Что ждет его впереди? И что же ждет впереди их, двух еще не оперившихся, полных надежд юнцов, чья жизнь и судьба так тесно переплелись с его судьбой?

Они были очень разные, эти двое молодых людей: нервный, одухотворенный, весь какой-то изломанный, как и люди на его тогдашних картинах, Ладо и веселый, покладистый, умеющий никогда и ничего не принимать слишком близко к сердцу Михе Чиаурели, уже успевший к своим двадцати годам несколько располнеть, что было, несомненно, первым пока в его жизни следствием многочисленных, а главное долгих, от зари до зари, кутежей. Оба они были искренними почитателями таланта Нико Пиросманашвили, но к своей теперешней миссии они относились по-разному. Ладо, похоже, видел в этом поручении некий знак свыше, может быть, даже некий акт искупления всеобщей вины перед этим, как он считал, великим человеком, столь долго, однако, жившим в безвестности и пренебрежении. Михе же — скорее лишь очередное захватывающее приключение, в котором самым важным было не столько кого искать, сколько где и как искать, в каких еще не известных ему подвалах и духанах можно было побывать, посидеть, поднять

стакан вина, да еще по такому уважительному поводу и с таким благородным, таким всеми уважаемым человеком, как друг его Ладо. Правда, Ладо в последнее время не пил, но разве это что меняло в их предприятии? Важен ведь не стакан как таковой — важен процесс!

В Авлабаре не получилось — решено было попробовать у вокзала, на Молоканской, Песковской, Черкезовской улицах, где чуть ли не в каждом доме был духан или винный погреб и где, по слухам, чаще всего и особенно подолгу в прежние времена жил и работал Нико. Люди говорили, что даже и сейчас еще, после всех этих повальных закупок братьев Зданевичей и их друзей, в некоторых привокзальных заведениях можно было (если, конечно, повезет) увидеть прямо над стойкой или в углу, у очага на темной прокопченной стене какую-нибудь еще неизвестную вещь Нико — иногда яркую, бросающуюся в глаза, а иногда почти и неразличимую в полутьме, сквозь плохой полуподвальный свет и сизые клубы табачного дыма, недвижно висящего над столами и под низким кирпичным потолком.

Несмотря на войну, эти духаны и погреба никогда не пустовали — ни днем, ни по вечерам: лишить трудового тифлисского человека веками освященного стакана белого вина все равно, что лишить его воздуха, и никакие строжайшие и наистрожайшие запреты начальства ничего с этим сделать не могли. Конечно, торговля сократилась: «Ах, не то, не то, что в былые времена! Какая это торговля? Горе одно, а не торговля...» Конечно, приходилось все время оглядываться на дверь, чтобы не проворонить неожиданное появление какого-нибудь подозрительного лица или представителя власти, совершающего свой очередной обход. Но на худой конец даже и в этом случае всегда имелось испытанное и безотказное средство — плотно скомканная хрустящая бумажка из ладони в ладонь, и на столах для порядка можно было вместо привычных стеклянных расставить и другие, глиняные кувшины: мало ли что налито в них, в этих кувшинах. Это еще надо доказать, что в них вино, а не лимонад! Но огромные уложенные на бок бочки с вином как стояли в дальнем конце такого подвала десятки, а может быть, и сотни лет, так и остались там стоять; и вертела над пылающим очагом, униженные цыплятами или кусками шашлыка, продолжали издавать свой дразнящий, доводящий до помутнения в глазах запах, как издавали они его, наверное, еще при прадедах и прапрадедах нынешних посетителей; и сами гости — рабочие с железной дороги,

металлисты, грузчики, приказчики, веселые, никогда не унывающие кинто, степенные молчаливые молокане — продолжали сидеть здесь, как сидели они всегда, с той уже далекой теперь поры, когда над губой у каждого из них только-только начинали пробиваться усы; и дородные, величавые хозяева этих заведений — Сандро Кочелашвили, Бего Яксиев, Иван Киквадзе, Шави Вано и многие, многие другие — как, казалось, вросли однажды ногами в землю у своей стойки, так ни разу и не сдвинулись оттуда, твердо веря в веками выверенные законы жизни и в то, что война не война, а рано или поздно все на свете опять возвратится на круги своя.

— Так вы ищете Нико? Трудно его теперь найти, молодые люди. Трудно!.. Не знаю, что и посоветовать вам, — говорил им Сандро, толстый, плутоватого вида духанщик, за которым ходила слава первого мошенника на всем левом берегу Куры, но подвал которого люди ценили, потому что и вино в нем было всегда неплохое, и еда, и еще потому, что хозяин очень любил, когда гости его пели песни, старинные песни. А там, где поют старинные песни, там человеку, как известно, всегда хорошо...

— Конечно, я его знал. Еще как знал! Он был мне друг. Я его поил, я его кормил, краски ему покупал, клеенки, а он здесь жил. Там вон, в углу, за большими бочками, — там он жил и там же рисовал... Скажешь ему: «Дорогой Нико! Уважаемый Нико! Нарисуй льва». Пожалуйста, нарисует льва. Скажешь: «Нарисуй оленя», — нарисует оленя. Или скажешь ему: «Нико! Нарисуй светлое Христово Воскресенье», — нарисует, много людей нарисует, и церковь, и праздник, и шарманку, и вино в бочонках. И еще напишет, чтобы всем понятно было: «Слава Богу, что дожили до Пасхи». Мне хорошо, гостям хорошо. Ему хорошо... Бывало, конечно, что и заупрямится: не хочу рисовать это, не хочу рисовать то... Но хороший, отзывчивый был человек. Объяснишь ему, нальешь стаканчик вина, еще нальешь, друзей попросишь... Пообижается немного, но обязательно сделает. Никогда не отказывал никому, разве что только в похмелье... Ах, грешный я человек! Продал я, молодые люди, его картины. Все продал. Деньги были нужны, новое дело хотел открыть, большое дело, а тут война. Сам теперь жалею. Был у меня друг Нико. Нет у меня теперь друга Нико. Пусто стало в духане. Но где его теперь найдешь? Ушел он отсюда. А куда — кто ж его знает куда? Он всегда так: когда хотел, тогда и уходил, когда хотел, тогда и приходил... Вольный



был человек. Ни дома, ни семьи, ни забот. Один ящик с кистями да рваное пальто. А добрых людей на земле много! Не один я щедрый человек... Но что же вы стоите, молодые люди? Присаживайтесь, прошу! Хотите к этому столу, хотите к другому. Везде хорошие люди сидят, везде друзья Нико... Вон там, в том углу, видите? Сидит такой солидный, седой человек. Один сидит. Уважаемый человек. Машинист. Поезда до Баку водит... Датико! Слышишь, Датико! Окажи уважение, Расскажи молодым господам про Нико. Он тебя больше всех любил.

Друзья обернулись. За столом в углу, у самого окна, сидел пожилой сутуловатый человек в темном костюме и белой рубашке с галстуком. Большие руки его со сжатыми кулаками недвижно лежали на столе. Перед ним уже стоял кувшин вина, но мальчик, прислуживавший в зале, сейчас же, по знаку хозяина, выставил на этот стол еще один глиняный кувшин и два, тоже глиняных, стакана, а к ним еще и тарелочку густо посоленных черных сухарей — известный в округе специалитет заведения Сандро. Кивком головы человек за столом указал им на пустые места рядом с собой. Потом, не спрашивая их ни о чем, он не из нового, а из уже стоявшего перед ним кувшина наполнил оба стакана и придвинул их поближе к краям стола, слева и справа от себя.

— Спасибо, батано, — сказал, усаживаясь, Ладос. — Но я, к сожалению, не пью.

— А вы? — не удивившись и ничего не возразив, спросил сидевший за столом у Чиаурели.

— А я?.. А я, признаться, пью! И тем более с друзьями такого человека, как Нико, — ответил, улыбаясь, Михе.

— Что ж, тогда прошу... Меняются, я смотрю, времена, молодые люди. Быстро меняются. Многим теперь, оказывается, стал нужен Нико... — вздохнув, покачал головой этот человек. — Ну? За нашу встречу, господа? Поздновато вы однако спохватились, молодые люди. Поздновато...

— Вы думаете, он... Он уже умер?

— Не знаю, молодые люди. Не знаю. Может быть. Может быть, и умер. Болел он последние годы. Очень болел. Как закашляется, так с полчаса отойти не может. И в чем только душа держалась? Худой, бледный, глаза горят. Думаю, что чахотка у него. А может, и не она. Может, еще что. Мы с ним давние были друзья. Я еще кочегаром на паровозе работал, а он на тормозах, кондуктором... Трудно ему было жить: ни кола ни двора. Сегодня в этом духане спит, завтра в том... Но гордый был человек! Всегда говорил

мне: «Не надо, Датико, не жалея обо мне. Пока еще кисть в руках держу — я с голоду не помру. Мне людей надо видеть, разговаривать с ними. Я писать должен. А где еще купят мои картины? В духанах, в подвалах — а где еще?» За еду всегда работал, за стакан вина. За соломенную подстилку в углу. Иногда, правда, бывало, и деньги ему давали... Эй, Сандро, старый мошенник! Сколько ты ему всегда платил за картины? Полтинник? Рубль?

— Бывало, и больше.

— Врешь, Сандро! Не бывало. Никогда ты ему больше рубля не платил.

— А что я был должен делать, по-твоему, Датико? Что?.. У меня свой хлеб, я торговый человек. Коммерсант... Я покупаю и продаю, покупаю и продаю... Какая цена на рынке, по той я и покупаю.

— Как же... Цена... Небось все, что купил, потом по сотне рублей за штуку продал? А, Сандро? Тем двум парням из Солولاки, в студенческих тужурках? Скажешь, забыл?

— По сотне?! Какой по сотне! Ты в своем уме, Датико? По три рубля продавал, по пять. Ну, по десять, если большая... По сотне! Если бы по сотне... Обижаешь, Датико! Ни за что обижаешь. Нехорошо. Ты мой старый гость, старый друг, Датико. Нехорошо!

— Ну, запел лазаря... Кому ты здесь сказки-то рассказываешь, Сандро? Мало у тебя грехов на душе? За все ведь придется когда-нибудь отвечать. И за Нико на том свете тебе тоже отвечать, Сандро...

— И отвечу! И отвечу, Датико! Я за все отвечу, Датико! Пусть еще кто-нибудь так ответит, как я буду отвечать!

Сандро в конце концов не вытерпел — выскочил из-за стойки и, продолжая возмущенно размахивать руками, присоединился к ним. Голоса его и паровозного машиниста звучали все громче, все возбужденнее, и гости за другими столами стали все чаще и чаще оборачиваться на них. Потом один из гостей, прихватив с собой стул, подсел к их столу, за ним другой, за ним третий — и через какое-то время вокруг них образовалась уже целая компания, в которой каждый, как оказалось, когда-то знал и любил Нико и в которой каждому было что о нем вспомнить и что сказать.

Играла в углу старенькая шарманка, тяжело хлопала дубовая входная дверь, впуская и выпуская посетителей, трещали дрова в очаге, шипело и стреляло сало, стекавшее с вертелов на угли, пахло жарящимся мясом, кислым вином, мокрыми опилками, плотным слоем насыпанными на

полу... На улице опять шел снег пополам с дождем, и там опять стало темно. Сандро велел зажечь керосиновые лампы. Одну из них мальчик поставил прямо перед ними посреди стола, слегка отодвинув в стороны оба глиняных кувшина...

— Очень он стол любил рисовать, — рассказывал живой, подвижный человек средних лет с молодецки подкрученными вверх усами и припомаженной головой. С первого же взгляда в нем нельзя было не узнать потомственного тифлисского кинто: картуз, синий архалук, серебряный пояс с насечкой, мягкие шевровые сапоги. — Возьмет кисть — вино нарисует, хлеб, редиску нарисует. Поросенка на блюде. Пир, веселье! А за столом мы сидим — я сижу, друзья мои сидят, гуляем, песни поем. Тамада стол держит, слова благородные говорит. Тепло, воздух чистый, свежий. Луна на небе. Хорошо! Сердце радуется, душа отмякает. Себя любишь, друзей любишь. Всех любишь! Век бы так жил...

— Город любил, дома любил... И людей любил рисовать, — говорил другой гость, худой длинный человек в потертой, выдавшей виды тужурке телеграфиста. — Увидит князя — нарисует князя. Духанщика увидит — нарисует духанщика... Или дворника, или курда, или мальчика на осле. Бывало, нарисует — и повесит здесь, вон на той или на этой стене. Потом сядет в углу, молчит, улыбается в усы. А мы радуемся, любимся. Зовешь его: «Нико, дорогой! Не откажи, выпей с нами стаканчик вина! За твой талант, за твое сердце...» Никогда не отказывался! Подойдет, поблагодарит, сядет. А когда выпьет — отломит от хлеба кусочек, пожует и ничего больше не ест... Эх, Сандро, Сандро... Неумный ты человек, Сандро! Плохой ты хозяин... Зачем все продал? К тебе и ходить-то теперь неохота. Так, по привычке идешь... А когда его картины здесь висели — народ к тебе валом валил, всегда шумно было, весело было...

— Нет, братя. Нет... — вмешивался третий, маленький, аккуратно застегнутый на все пуговицы человек, по виду служащий из банка или, может быть, страховой агент. — Он не город любил. Он деревню любил. У него земля была в Кახетии. Своя земля... Только он не ездил туда никогда. Почему — не знаю. Наверное, денег не было, чтобы поехать. Соседей, наверное, стеснялся, бедности своей стеснялся... Здесь к нему все привыкли, здесь его никто не обижал. А там, наверное, боялся, что смеяться над ним будут. Над худобой его будут смеяться, над бедностью. А деревню он любил. Всегда любил. Очень осень любил рисовать. Когда виноград давят,

хлеб молотят. Когда молодое вино пьют, свадьбы играют, в гости друг к другу ездят. Сколько раз, бывало, смотришь, как он деревню нарисовал и думаешь, думаешь: люди добрые, как же так получилось, а?! Зачем я здесь? Почему я здесь? За каким дьяволом занесло меня в эту жизнь? Остался бы дома, виноград бы растил, овечек бы пас, жена бы хлеб пекла... Уйду я когда-нибудь, братья! Домой уйду... Запущу в голову начальству чернильницей — и уйду... Там у меня мои старики лежат. И я с ними лягу. Там просторно, там не то, что здесь... Там и для меня место есть...

— А я больше всего его оленя помню, — вспоминал еще один, невзрачный и бедновато одетый гость, судя по длинным, до плеч волосам, из духовного звания, но не священник, конечно, и не дьякон, а пониже, из причетников: дьячок, наверное, либо пономарь. — Сандро, помнишь, олень здесь висел? Глаза еще у него были такие огромные... Смотрит на тебя со стены, сам тоненький, а глаза огромные, печальные, и вроде тебе и деться от них некуда, от этих глаз. Куда ни повернешься — везде они... Что-то он все сказать тебе хочет: про душу твою, про совесть... Про близких твоих. Я, бывало, приду от тебя, Сандро, спать лягу, одеяло натяну, глаза закрою, а передо мной он — олень. И все смотрит на меня, смотрит... А, бывало, еще и снится начнет. Ночь за ночью снится. Прямо хоть на колени становись — молись, чтобы душу отпустил... Господи, Владыка всего сущего на земли! Пошли Ты Нико здоровья, если он еще жив. А нет — упокой его, как упокоил ты всех праведников Твоих...

— Аминь, — серьезно и строго, перекрестившись большим крестом, подтвердил паровозный машинист. — Намалялся он в жизни. Может, хоть на том свете воздастся ему... А вы что, собственно, ищете, молодые люди? Его? Или картины его, чтобы купить? Если картины, то, как видите, опоздали. Вам бы года эдак два или три назад сюда заглянуть...

— Нет, не картины, батона, — ответил Ладо. — Мы не картины его покупаем. Мы его самого ищем. Кое-какие тут деньги хотим ему передать. И с людьми встретиться пригласить. Послезавтра люди соберутся, художники соберутся — хотят его повидать. Поговорить с ним. Может быть, что-нибудь сделать для него...

— Ах, господа... Господа хорошие... — вздохнул машинист. — Раньше-то где ж вы были, а? А ведь он ждал вас. Долго ждал... Может быть, всю жизнь ждал... Ждал, ждал —

да боюсь, что так и не дождался. Может, вы теперь-то ему уже и не нужны...

— Мы не знали о нем. Ничего не знали! Мы с Ладо еще дети были — откуда нам было знать? — заерзал на своем стуле Михе Чиаурели. — Так нельзя, батоно. Легко так говорить — где ж вы были... А вы? А вы-то где были, если уж на то пошло? Вон нас сколько здесь сидит. Никто не бедный. И каждый говорит: наш Нико, дорогой Нико, уважаемый Нико... А он сейчас, может, где-нибудь с голоду помирает, если не помер уже. Неужели нельзя было его прокормить, угол ему найти? Подлечить его, если болел? Сколько ему надо было? Всего ничего. А вы ведь его все знали...

— Да, это верно, парень. Его здесь знали, — помрачнев, согласился паровозный машинист. — Его многие знали. Все вывески здесь, у вокзала, были его. Все номера на домах. Все его знали, все любили. А вот пропал человек — и виноватых-то, оказывается, нет. И получается — и не было никогда... Прокормить, говоришь? Прокормить-то мы бы его прокормили. Ему и, правда, не много надо было... Нет... Если бы дело было только в том, чтобы прокормить, он, может, и сегодня был бы еще тут. Дело не в прокормить... Душа его рвалась — вот в чем все дело! А куда рвалась, зачем — кто из нас понимал? И вас тут не было никого, чтобы объяснить. Нам объяснить... А может быть, и не нам. Может быть, и ему самому...

— Нико великий художник, батоно... Он величайший художник! — горячо, словно боясь, что ему могут не поверить, прервал его Ладо. — Помяните мое слово — придет время! Весь мир будет знать о нем. И каждая вещь его будет стоить миллион. Да-да, не усмехайтесь, не мотайте головами, я знаю, что я говорю: не рубль, а именно миллион!

— Э... хорошо! Кончится война, пойдут дела в гору — обязательно назад все откуплю, что продал, — мечтательно потянувшись всем телом и качнувшись на стуле, проговорил Сандро. — Сниму самый большой в Тифлисе подвал, открою такой духан, такой духан... Самый лучший в мире духан! И весь подвал, все стены в нем будут Нико, один Нико. Такой Нико, другой Нико... И духан так и назову: «У Нико»... Милости просим тогда, дорогие друзья! Всех приглашаю. Ко мне в гости, к Нико в гости — всех!

— А, Сандро... Говорю же — пустой ты человек... Не надейся, не пойдут твои дела в гору, — угрюмо возразил ему телеграфист. — Кончится война, начнется что-нибудь другое... Осатанел народ, злоба его душит. Вот-вот кровь по-

лется. Не чужих — своих будут резать. А ты: подвал, подвал. Какой подвал? Говорят, на днях в Петербурге Распутина убили. Застрелили, как собаку... Чья теперь очередь, как ты считаешь, а?

— Тс-с-с, — испуганно дернувшись, прошипел Сандро и оглянулся по сторонам.

Все замолчали. Как ни распустился народ в войну, как ни потерял всякое уважение к начальству, а все-таки никому не хотелось напрашиваться на неприятности: кто его знает, кто там сидит за соседним столом? Время такое. Иди потом доказывай, что ты всего лишь смиренный; благонамеренный обыватель, а не член какой-нибудь шайки бомбометателей или, еще хуже, не немецкий или турецкий шпион...

Когда по крутой, скользкой лестнице они выбрались наконец наружу, над городом уже сгущались сумерки и по всей Молоканской улице уже горели газовые фонари. Сандро на прощанье указал им адреса нескольких питейных заведений по соседству, где раньше обыкновенно бывал Нико и где могли что-нибудь знать о нем. Часа два, наверное, не меньше, они кружили по близлежащим улицам и переулкам, переходя от вывески к вывеске, от двери к двери и везде спрашивая про Нико. Все это время фазтон со своим хозяином, понуро сгорбившимся на козлах, медленным, спотыкающимся шагом следовал за ними и потом опять застывал у какого-нибудь столба или подворотни, терпеливо дожидаясь, пока они опять не вылезут наверх из очередного духана или винного погребка. Везде кто-нибудь что-нибудь знал о Нико, люди охотно вспоминали его, но именно вспоминали: никто и здесь ничего не знал, где он сейчас, что с ним и жив ли он еще вообще. И только под конец, когда, устав от этих бесплодных расспросов, молодые люди стали уже подумывать о том, что, судя по всему, они ввязались в безнадежное предприятие, им все-таки повезло. Хозяин одного маленького духана — кривой, небритый и неприветливый человек — проворчал, зло полыхнув по ним из-за стойки единственным своим глазом:

— Здесь этого босяка не ищите. Он сейчас в Сабуртало. Скорее всего, у Шави Ваню. У Черного Ваню. Кто-то его вроде бы видел там недавно... Он мне деньги должен. Найдете — скажите ему, что я из него, из пропойцы, душу вытрясу, если не отдаст. Сам не придет — с полицией найду. Пил, ел, в сарае ночевал, а так ничего и не сделал, прохвост! Какую-то картонку только намалевал — одна мазня, людей стыдно. И это за неделю житья здесь на всем готовом? Вах!

Теперь надо было ехать в Сабуртало — в одно из предместий города, на правом берегу реки. Опять повалил снег, опять закружились снежинки в тусклом свете уличных фонарей и магазинных витрин, и опять захлопали, заплескались черные лужи под колесами фэтона, обдавая фонтанами ледяных брызг прохожих. Проехали Воронцовский мост, нависший над темными, по-зимнему тяжелыми водами Куры, потом по булыжному крутому спуску поднялись вверх, на высокий другой берег, и оттуда уже, повернув вправо, по плохо освещенным безлюдным улицам, по оврагам и пустырям покатали в Сабуртало. Дорога была вконец разбита, и фэтон немилосердно кренило и трясло, но, вжавшись в сиденье, усталые и продрогшие, они уже не обращали внимания на эту тряску и толчки. Михе даже умудрился задремать на плече у своего друга, не желая, видимо, тратить силы на бесплодные попытки разглядеть что-либо в той крошечной тьме, которая обступила их со всех сторон. Впрочем, нет, темнота все-таки не была полной: снег, белым покрывалом укрывавший пустыри и склоны оврагов, чуть-чуть, но все же освещал дорогу перед ними, то взбирающуюся круто вверх, то ныряющую столь же круто вниз, и кроме того, из одиноких домишек, разбросанных там и сям по склонам, нет-нет да и доставал до них или отблеск разжигаемой где-то печи, или тоненький луч керосиновой лампы, пробивавшийся сквозь чье-то неплотно занавешенное окно.

Да и само ночное небо, если привыкнуть и приглядеться к нему, не было сплошь темным, потому что Тифлис — большой город, и даже если он остался там, за горой, то смутный свет от него все равно обычно виден далеко по всей округе, особенно же в такую безлунную ночь, на которую пришлось эта их поездка в Сабуртало.

Они порядочно уже проехали молча, когда Ладо, наскучив этим долгим молчанием, нарушаемым лишь мерным цоканьем копыт, тихонько ткнул локтем своего спутника, уютно пристроившегося у него на плече:

— Спишь, Михе? Не спи... Мне завидно...

— Отстань... Какого черта? Я уже сон начал видеть. Зачем разбудил? — недовольно пробурчал Чиаурели. Но голову с плеча друга он все-таки снял и, запахнувшись поплотнее в пальто, отодвинулся от него подальше в угол.

— Не спи. Говорю — завидую.

— Завидовать грех, Ладо. Большой грех, — зевая и еще больше забиваясь в угол, возразил Чиаурели. — Надо не за-

видовать. Надо жить по обстоятельствам. Их не переспоришь — они всегда сильнее нас.

— А если мы его все-таки не найдем, Михе? А? Как тогда?

— Тогда? А что — как тогда? Найдем не найдем... Почему, интересно знать, я должен так уж переживать, найдем мы этого бедолагу или не найдем? И что с ним? И где он теперь — на небе или на земле? Он великий человек; я маленький человек. Ну и ладно, ну и хорошо! По крайней мере, я за него не ответчик. А кто ответчик — откуда мне знать? Так или не так, Ладо? Сумеет — поможем! Он, похоже, действительно хороший человек, ему надо помочь. Но отвечать за него? Переживать? Сил не хватит, Ладо, за всех переживать. А кто переживает за меня, ты мне можешь сказать? Мама? Ты? Ну, может быть, еще и ты. А так — кто еще? И кому, по правде говоря, я нужен? И кому, если уж на то пошло, нужен он? Не картины его, а он, человек по имени Нико?

— Нет, Михе... Мне он нужен! Мне! Понимаешь? Мне. И, наверное, не только мне. Я тебе скажу... Я иногда, бывает, думаю. Если бы я мог... Если бы я мог, я бы привел его к себе, сделал бы ему мастерскую, помогал бы ему... Покупал бы ему клеенки, краски, людей бы к нему водил — критиков, покупателей... Докторам бы его показал. Я гордый человек, Михе. Я очень гордый человек! Но сейчас я думаю, что я мог бы, наверное... Как апостол Петр за Христом... Все бросить и пойти за ним. Ноги ему мыть, служить ему... Из гордости... Понимаешь? Из гордости! Это и было бы мое истинное величие — как пес хозяину, служить ему... Если бы я...

— А, Ладо! Слушать тошно — перестань. Если бы, если бы... В том-то все и дело — если бы... Если бы я мог, я бы тоже так распорядился, чтобы всем было хорошо. Живите все счастливо, не обижайте друг друга, не топчите друг друга ногами... Радуйтесь, веселитесь. Всем хорошо, все счастливы — благодать! Так ведь нельзя?

— Нельзя.

— Ага, вот видишь. Ну, а раз нельзя — так и дело с концом. Я за Господа Бога не ответчик. И отстань ты от меня! Не хочу я сейчас разговаривать. Я спать хочу. Черт, это надо ж куда нас с тобой занесло! Темнота, пустота, холод собачий — бр-р-р... Ты валяй, продолжай, мучайся, если охота. А я пока еще немного вздремну.

Однако заснуть ему больше не удалось. Впереди, во тьме, затеплился слабый, дрожащий огонек. Дорога пошла опять



круто в гору, лошадь рванулась, скользя копытами по мокрому булыжнику, и через минуту-другую их фазтон подкатил к приземистому белому строению с тускло мерцавшим керосиновым фонарем у входа и наглухо закрытыми ставнями окон.

Тихо падал белый снег. Никто их не встречал, никто не вышел на порог, не позвал их в дом. Голые черные деревья, обступившие строение со всех сторон, молчали, и только снизу, из темноты, из-под высокого обрыва, доносился глухой, не смолкавший ни на мгновение рокот Куры. Это и был духан Шави Вано — Черного Вано. Таинственный, уединенный, удаленный от всякого человеческого жилья, он пользовался сомнительной славой: говорили, что здесь частенько собирался преступный мир Тифлиса и что порядочному человеку приезжать сюда, да еще ночью, было отнюдь не безопасно да и вообще не к лицу.

Придерживая дыхание, друзья вылезли из фазтона и, не решаясь постучать, остановились у двери. Казалось, что сейчас где-то там, за закрытыми дверями и ставнями, в подвале, в винном чаду и клубах дыма, сидят, сгрудившись у очага, полуголые разбойники и делят между собой награбленное, оглашая низкие, нависшие над головой своды грубым хохотом и швыряя обглоданные кости в огонь...

Но, как выяснилось, опасения их были напрасны. Дверь духана была не заперта, и, когда Ладо, собравшись наконец с духом, толкнул ее, перед ними открылась большая, слабо освещенная комната под темным, прокопченным потолком, уставленная бутылками стойка с одиноко дремавшим за ней хозяином и ряды застланных линялой клеенкой столов, из которых занят был только один. За ним, сдвинув поближе головы и тихо беседуя о чем-то, сидели двое — судя по картузам, поддевкам и цветастым рубашам навыпуск, молокане с другого берега Куры. Потревоженный скрипом двери, хозяин открыл глаза, тяжело, опираясь на стойку, приподнялся и молча уставился на них, дожидаясь, пока они кончат отряхиваться от снега, успевшего уже налипнуть им на шляпы и на пальто. Черные глаза под кустистыми бровями, черная окладистая борода, черный архалук, туго обтягивающий его могучий живот, — это и был, очевидно, Шави Вано. Черный Вано...

— Приветствую дорогих гостей! Ну и погода. Собачья погода, а, молодые люди? — буравя их глазами, нарушил наконец молчание хозяин. — Что подать, чем угостить, господа хорошие? Час поздний, но для вас, если пожелаете, что

угодно можем сделать. Выпить, слава Богу, пока еще есть, еда есть...

— Водки. Мне. И чаю нам обоим, — все еще вздрагивая от холода и потирая озябшие руки, ответил и за себя, и за Ладо Чиаурели. — Друг мой, к сожалению, не пьет. Зарок дал... Ну, а я выпью. Мне обязательно надо выпить. Иначе, чувствую, мне сегодня живым дома не быть...

— На паром торопились, на ту сторону? Если так — то вовремя. Вон как раз перевозчики сидят, отдыхают. Скоро им назад.

— Нет, не паром. К вам... Ведь вы Вано? Шави Вано?

— Я Вано... Пятьдесят пять лет я Вано. И для друзей Вано, и для врагов Вано... Шави Вано. Черный Вано. Садитесь, молодые люди. Раз торопиться некуда, посидим, побеседуем. Значит, у вас дело ко мне?

— Дело.

— Ну а дела на бегу не делаются. Сейчас я в самовар пару чурочек подброшу... И поговорим...

Смахнув с плеча длинное белое полотенце, Вано неторопливо протер им маленький граненый стаканчик и две большие чайные чашки, налил в стаканчик водки, положил на тарелку рядом с ним горсть маслин. Потом так же тщательно он ополоснул горячей водой пузатый расписной чайник, поставил все это на поднос и, ловко бросив его на растопыренную ладонь, повернулся и ушел в заднюю дверь...

Все еще напряженно озираясь по сторонам, друзья уселись за ближайший стол. Молокане молчали, скрипел где-то под потолком сверчок, тихо тикали старенькие ходики на стене... Тепло, как одеялом, начало укутывать их. Постепенно глаза их привыкли к полумраку, к дрожащим отблескам керосиновой лампы на стенах и тоненькому язычку свечи в дальнем углу, на столе у молокан. Все это было давно знакомо им, все было как и в любом другом тифлисском духане: черные дубовые балки по потолку, побеленные — но очень, видимо, давно — стены, какие-то темные пятна и подтеки по углам, какие-то жалкие картиночки на гвоздях...

И тут же нежданно-негаданно для себя они вдруг сделали открытие, заставившее вздрогнуть их обоих. Со всех сторон, в том числе и из проемов между зашторенными окнами, на них смотрел Нико Пиросмани — настоящий, подлинный Пиросмани, спутать которого невозможно было ни с кем другим. Ладо вскочил и быстро-быстро обежал вдоль стен:

нет, сомнений не было — это был Пиросмани, новый Пиросмани, не известный пока еще никому! Вот свадьба где-то в Кахетии, вот молокане за длинным столом, вот молокане на пароме, вот медведица с медвежатами... Он... Он! Нико!

— Ну как, молодые люди? Согреваетесь помаленьку? — вывел их из оцепенения голос Ваню.— В самый раз теперь чайку. Индийский, из довоенных еще запасов. Скоро и этому конец. О-хо-хо... Конец, молодые люди. Всему конец. Все под откос, все под гору. Как дальше-то будем жить, а? Как жить, как торговать? Как детей поднимать? Вы, видать, образованные господа. Что там наверху думают, а? Будет ли всему этому когда-нибудь конец? Или чаша наша еще не полна?

— Мы тоже не наверху, батюно, — покачивая головой, возразил Ладю.— Мы художники. Как говорится, темный народ. Откуда нам знать? Мы картины рисуем, декорации в театре пишем. Иногда нас в церкви приглашают, росписи подправить или заново что написать. А до другого до всего нам дела нет. А если и есть, то не больше, чем другим. Это у вас Нико? Нико Пиросманашвили?

— Он.

— Продаете?

— Нет. Не продаю.— Черные глаза Ваню вдруг стали ключими, настороженными, и любезная улыбка сползла с его губ.— А вам, собственно, зачем?.. Вы кто? Вы не художники — вы перекупщики?

— Нет, батюно, мы не перекупщики. Мы действительно художники. Но если бы вы продавали, мы бы купили.

— Так... Купили бы, значит... Купили бы здесь по десятке, продали бы там по сотне? Эх, молодые люди, молодые люди... Если вы здесь за этим, мой вам совет: убирайтесь-ка вы отсюда подобру-поздорову, пока целы. Где-где, а здесь дураков нет. И не ищите. Не вы первые. Был уже здесь как-то до вас один. Хлыщ с бородкой. И усы торчком. Здорово тогда его здесь поуродовали. Не я — гости мои... Пришлось полицию звать, самому мне их было не разнять... Тоже требовал, чтобы я ему Нико продал...

— Нет-нет, Ваню! Вы нас не так поняли... Не хотите продавать — не надо. Дело ваше... Мы здесь не за этим. Мы самого Нико ищем. Деньги ему передать. От общества художников... Мы знаем — плохо ему. Может быть, он с голоду помирает. А где он — мы не знаем. Мы его с самого утра по всему Тифлису ищем...

— Так?.. Действительно так?.. Не картины его — его самого?

— Так, Ваню. Так... Какие же мы перекупщики? У вас ведь глаз наметанный. Как же вы могли подумать про нас так?

— Всякое бывает, молодые люди. Кто вас знает?.. Все теперь смешалось, ничего теперь не поймешь. Смотришь: по виду вроде приличные господа, а потом вдруг оказывается — мошенники, мазурики, хуже цыган...

— Так где он сейчас, Ваню? Посоветуйте: где его искать? Или вы тоже не знаете о нем ничего?

— Нет, я знаю... Знаю, что он жив... Что он снимает угол на той стороне реки, а Дидубе... У зятя вон одного их тех перевозчиков, которые там сидят. Знаю, что он плох, совсем плох. Что он сильно пьет, болеет, прячется от всех. И ни к кому теперь не ходит. Даже ко мне...

— Он у вас жил когда-то?

— Жил. Долго жил. Жил и писал... Два у него друга было — я и Бего Яксиев... Но ни я, ни Бего так и не смогли его удержать. Ушел он от меня... И от Бего тоже ушел... Что поделаешь! Нашей с Бего вины тут нет. Так он сам хотел... Так ему, наверное, судьба его говорила: иди, Нико, иди! Тебе нельзя жить, как все люди живут. Ты божий человек... А картины его у меня! И будут у меня, пока я жив. В гроб с собой велю положить! Или откажу в какой-нибудь монастырь, чтобы вечно поминали люди божьего человека Нико... Чтобы всякий, у кого душа изболелась, кому жить больше сил нет никаких, мог помолиться ему, Нико... Попросить у него заступничества, пожаловаться ему. Так и скажите, молодые люди, вашим друзьям там, наверху: никому и ничего не продаст никогда Шави Ваню, Черный Ваню! Много я перед Богом грешен, за многое мне отвечать перед Ним... Но этого греха я на душу никогда не возьму...

Ваню замолчал. Глаза его влажно блеснули в полутьме, и, чтобы скрыть эту внезапную слабость, он отвернулся от гостей и отошел опять к стойке. Потом, постояв там немного, Ваню со вздохом плеснул себе в такой же граненый стаканчик водки и, вернувшись, тяжело опустился на стул рядом с ними.

— За здоровье Нико Пиросмани, господа! За моего друга Нико и за всех, кто его любит и любил... Выпьем, молодые люди, а потом я вон Алексея Прокопыча сюда к нам приглашу, перевозчика. Он вам получше объяснит, где его там, в Дидубе, найти. Кто знает, может, и правда, получится что путное из вашей затеи. Может, хоть обрадуется, бедняга, что о нем еще помнят... Не только здесь, а и там, наверху...

Все также шел мокрый снег, все так же глухая, непроницаемая тьма нависала над дорогой, когда они возвращались назад в город. Но теперь к дождю и снегу прибавился резкий, пронзительный ветер с гор, суливший на завтра холодную и, скорее всего, ясную погоду. Зима, настоящая зима вползала в Тифлис. Скоро надолго — может быть, на месяц, а то и больше — насупятся, посуровеют тифлисские дома, попрячутся куда-то птицы, затянутся хрустким, ломким ледком лужи на улицах, заспешат, заторопятся прохожие, подгоняемые колючим утренним морозцем, и по кривым, горбатым улочкам и переулкам, сбегаящим с горы на гору, потянется горьковатый, пахнущий углем и печеным хлебом дымок, сбиваемый ветром с черных труб над крышами домов...

Холодно, ах, холодно в это время в Тифлисе! Добрые люди сидят в такие дни и вечера дома, в тепле, у очага, в кругу семьи, беседуют, читают, пьют вино... И ни один даже самый свирепый, самый бессердечный человек не выгонит в такую погоду и собаку на улицу, не только что ближнего своего. Большой город Тифлис, и разные в нем живут люди! Но, слава Богу, у каждого из них есть хоть какая-то крыша над головой, и никто из них, как бы беден он ни был, в этом добром, щедром городе не умирал пока с голоду, и надо надеяться, что, пока этот город стоит, никто и не умрет никогда. Люди не звери: сам не можешь, другие помогут, друзья помогут, соседи, родственники, да мало ли еще кто? А потом опять будет весна, тепло, зацветет миндаль, зацветут персики, и, может быть, кончится эта ненавистная всем война, и опять все станет так, как оно и было всегда...

— А, Михе? Ты опять спишь? Не спи! Как ты думаешь, будет ли все опять как раньше? Молчишь? Ну и Бог с тобой, молчи. Ты, Михе, мудрый человек. Это правда: если не знаешь, то лучше молчать. Ты далеко пойдешь, Михе, помни мое слово. Не зря я всегда завидовал тебе...

## II

Серый рассвет потихоньку просачивался в крохотное, в глубоких разбегающихся трещинах окно. И снаружи, и внутри затянутое нарощим за ночь инеем, оно неохотно пропускало сквозь себя тусклый, уже успевший обессилеть где-то еще там, в тесных тифлисских дворах и закоулках, предутренний свет, превращая его в нестройные дымные тени, ко-

леблющиеся и расплывающиеся по стенам и по углам. Да и освещать-то, по существу, в этой камерке было нечего: ящик из-под фруктов, придвинутый к окну и служивший, видимо, столом, закопченный маленький мангал, еще один ящик, груда рваного тряпья на досках вдоль стены, укрывавшая какое-то человеческое тело... Вот, собственно, и все, что было в этой узкой, как гроб, дощатой пристройке со скошенным круто потолком, который на самом деле был не потолком, а лестницей, ведущей на второй этаж большого деревянного дома, затерянного на одной из самых грязных, самых глухих улиц тифлисского предместья Дидубе, на левом берегу Куры.

Холодно, ах, как холодно было зимой под лестницей этого дома! В этой тоненькой пристроечке, прилепившейся снаружи к потемневшему от времени бревенчатому срубу, еще в прошлом веке поставленному здесь большой и дружной семьей молокан... Мангал давно остыл. Ледяной холод, могильный холод! Как будто некто невидимый и всемогущий, осердясь, нарочно нагнал его сюда для того, чтобы окончательно убить все живое, всякую упрямо и безрассудно сопротивляющуюся его воле жизнь, которая все еще теплилась здесь, в этой крохотной камерке, вернее, в самом ее углу...

Тяжкий, болезненный стон вдруг нарушил сосредоточенную тишину. Из-под лохмотьев высвободилась седая, всклокоченная голова с закрытыми еще глазами и жадно хватающим сырой, промозглый воздух ртом. За ней, откинув в сторону полу старого, почти истлевшего уже пальто, прикрывавшего лохмотья сверху, вылезла худая голая рука и начала шарить по поверхности дощатого ящика, придвинутого к изголовью лежанки. Нашупав в темноте кувшин с водой, рука уцепилась за его ручку и потянула его за собой. Кашляя и издавая тихие стоны, человек, которому принадлежали эта рука и эта голова, выбрался по пояс из-под наваленного на него тряпья, прислонился к стене и, стуча зубами, обливаясь и все еще не открывая глаз, выглотал весь кувшин. Пока он, запрокинув голову, пил, острый, резко выдававшийся кадык на его шее судорожно вздрагивал, отмечая каждый глоток, проникавший в его невероятно худую, заросшую седыми волосами грудь. Потом тело его сползло опять вниз и затихло в изнеможении. Очевидно, что даже и такие простые движения, как сесть, откинуть голову назад и поднести к губам кувшин с водой, для этого изможденного и, несомненно, очень больного человека были уже нележки.

Наконец человек этот открыл глаза. Бесплезно было пытаться снова заснуть, сон уже покинул его. Теперь, как и в прошлую, и в позапрошлую ночь, как много, много уже ночей подряд, ему предстояли впереди долгие часы лежанья на этих длинных досках, в этом холоде, в сырой предрассветной полутьме, наедине с самим собой...

О чем думалось ему в эти длинные, тягучие часы? Какие сокровенные мысли посещали его в этой тишине, нарушаемой лишь его собственным кашлем, да шорохом мышей под полом, да еще глухим старческим побряхтыванием этого начинавшего уже помаленьку разваливаться, много повидавшего на своем веку дома, объятото сейчас глубоким сном?

О чем? А о чем вообще может думать, лежа в одиночестве, в предрассветной мгле, тяжело больной человек, ощущающий и в душе, и во всем своем теле свинцовую усталость от жизни и чувствующий дыхание еще не настигшей его, но уже неотвратимо надвигающейся смерти? Кто из нас может сказать про это с достаточной степенью уверенности, и тем более не о себе, а о другом, постороннем ему человеке, да еще жившем к тому же много-много десятилетий назад?

И все-таки... И все-таки, как говаривал когда-то один француз, «я знаю свое сердце, и, значит, я знаю людей». Да и человек, о котором идет здесь речь, никогда не молчал о себе, о своих ощущениях от жизни, никогда не скрывал их от других. Нет, он не молчал, напротив, в сотнях своих больших и малых картин, дошедших до нас, он успел многое, может быть, даже слишком многое сказать людям. Ибо человек, о ком идет здесь речь, этот больной, опустившийся старик в промозглой камерке под лестницей, скрючившийся сейчас на досках под грудой грязного тряпья, — это и есть великий художник Нико Пиросманашвили, которого мир почти не знал и не замечал, пока он жил, но перед которым он склонился в низком земном поклоне, когда понял наконец, что же этот человек совершил.

А... Но будут ли, будут ли отзвуки, пробужденные им и его творениями в душе другого человека, хоть в какой-то мере отражать то, что на самом деле было жизнью великого художника, — то, что день за днем, год за годом он вынашивал в себе и что он хотел сказать другим? О, это большой и нелегкий вопрос... Можно, конечно, более или менее правдоподобно переложить на слова и увязать в последовательную цепь мысли и поступки государственного деятеля, или ученого, или даже литератора: каждым из них движет в

жизни все-таки в большей мере ум, логика, чем то еле уловимое дрожание потаенных струн, запятанных в глубинах человеческого сердца, которое мы неопределенно и, признаться, так беспомощно называем чувством. Но как можно, к примеру, отобразить в словах божественную мелодию, которая звучит в душе музыканта и для которой даже у него самого-то поначалу нет ничего, кроме разве что маловразумительного мычания и еще, может быть, легкого постукивания пальцами по крышке рояля, а то и того проще — по крышке обеденного стола? И как можно выразить в словах то, что положил на полотно живописец? Какие слова могут здесь что сказать? Дрогнуло у тебя в душе что-то ответное — ну и будь доволен уже хотя бы этим, а разъяснить, растолковывать, облекать в понятия... Безнадежное это дело, и неблагоприятный это труд! «Мысль изреченная есть ложь...» А это ведь было сказано даже не про музыку и не про картины — про стихи...

А если к тому же автор всех этих великих живописных творений сейчас тяжело, безнадежно болен и сам-то уже не может толком отделить свои смутные, полубредовые видения и сны от все еще не отпускающей его, давно уже ставшей ненавистной ему реальности? А если он давно уже ждет смерти, и только какие-то непонятные ему самому силы, гнездящиеся в нем и все еще сопротивляющиеся неизбежному, заставляют его каждую ночь просыпаться и лежать так, в этом холоде, в этой сумеречной полутьме до тех пор, пока не станет окончательно ясно, что и в эту ночь он не умрет и что предстоит еще как-то прожить и этот, тоже уже не нужный ему и тоже не сулящий ничего хорошего день? А если уже в течение многих лет каждое такое утро его терзает тяжелое, заглушающее все другие чувства и ощущения похмелье, и единственным его желанием является не работа, не выздоровление, не даже сама жизнь, наконец, а всего лишь глоток, один глоток водки, чтобы только унять эту дрожь во всем теле, чтобы потушить этот адский, безжалостный огонь, сжигающий его изнутри?

О, муки пишущего человека, вынужденного для всего на свете искать слова! И сознавать в то же время, до чего же все они бедны и как же они, в сущности, не отражают ничего... Но что поделаешь, если ты уже ввязался в это дело и плохо это или хорошо, но назад дороги тебе уже нет.

Нико был истинный художник, художник, что называется, от Бога, а это значит, что он всегда жил чем угодно, но только не головой. Не ум, не логика, а что-то другое, чему



пока еще, к сожалению, никем не найдено подходящего названия, двигало им в его поступках и перемещениях по жизни, и оно же, это другое, двигало его рукой, когда он брался за кисть.

Почему еще в далекой, ранней юности он бросил землю, хозяйство и ушел в город? Почему, живя в семье благожелательных, отзывчивых людей, относившихся к нему скорее как к сыну, а не как к слуге, он, будучи уже в достаточно сознательном возрасте и не имея тогда еще никакого даже представления о красках и кистях, не позаботился о том, чтобы приобрести хоть какую-нибудь профессию, которая могла бы его прокормить? Почему он в тридцать лет поступил на железную дорогу и почему ушел с нее? Почему он с таким азартом занялся молочной торговлей и почему бросил ее как раз тогда, когда дело его начало процветать? Почему, зачем он потом не дни, а месяцы и годы кутил, пьянствовал, гонял ночи напролет по Тифлису на фазтоне, шумел, плакал, ссорился, сорил деньгами ради каких-то случайных собутыльников, ради каких-то глупых и жадных женщин, чье убожество он видел насквозь? Почему он так никогда и не женился, не попытался завести свою семью, свой дом, свой очаг, да просто свой угол, наконец, где бы он мог, когда совсем уж было не в состоянии, спрятаться от жизни и хоть немного передохнуть? Почему, открыв в себе талант и постепенно осознавая его меру, он никогда не требовал за свои работы ничего больше, чем стакан водки и кусок хлеба да еще на ночь-другую соломенную подстилку где-нибудь в сарае, в углу? Почему он всегда уходил от всех, даже от самых искренних своих друзей? Почему он ни разу не принял ни от кого предложения остаться, жить в тепле и сытости, спокойно думать, спокойно работать, добиваться известности, двигаться вперед? Почему он не хватился за братьев Зданевичей и за других почитателей своего таланта, чтобы вынырнуть на поверхность, заявить о себе всему миру, потребовать от него то, на что он имел право, данное ему свыше и не раз возвещенное ему, как он сам когда-то говорил, в его снах? И, наконец, почему, по какой дьявольской логике жизни он, за год с небольшим до своей смерти, оказался здесь, в этой заиндевевшей пристройке, без денег, без хлеба, без заказов, без друзей, оборванный, потерявший где-то во хмелю даже свой знаменитый самодельный ящик с кистями, съедаемый мучительной болезнью и еще более мучительной жаждой опохмелиться, продрогший, почти потерявший рассудок, превратившийся

уже в тень, жалкое подобие человека, в огородное пугало, которым почтенные обыватели в домах по соседству страшали теперь своих не в меру расшалившихся детей?

Почему, почему... А кто ж его знает, почему. И меньше всех, наверное, знал это он сам, Нико. Ну, судьба, ну, случай, ну, обстоятельства, наконец. Но разве все это что-либо объясняло тогда, когда он был еще жив, и разве сейчас, сегодня это тоже может что-либо объяснить?

Впрочем, у пишущего эти строки, признаться, есть одно (отнюдь, правда, не бесспорное) объяснение, которое, возможно, представит некоторый интерес. А может быть — но только именно может быть! — все на самом деле и не было таким запутанным и сложным? И все в его жизни объяснялось в конечном счете одним? Никогда Нико Пирсмани не жил так, как надо было, а всегда так, как он хотел, как ему было спокойнее и свободнее, без каких бы то ни было усилий над собой, над своими желаниями и движениями души, — жил так, как растет трава, как жили и живут птицы небесные, не оглядываясь на прошлое и не заботясь о завтрашнем дне. Не было никогда и не могло быть у такого человека, как Нико, никаких продуманных поступков и действий, никаких планов и твердо принятых решений, а были только сильные, иной раз непонятные даже и ему самому душевные всплески и порывы, сопротивляться которым он не мог, а главное — и не хотел. Да и почему обязательно сильные? Хватало и таких, которые человек не ощущает иначе как только легкое подталкивание откуда-то изнутри...

Надо бы, очень надо бы пойти налево — там дело, там ждут заказчики, там обеспеченный завтрашний день, а ноги сами собой тянут тебя вправо, в конец этой длинной пыльной улицы, где у дверей какой-то лавчонки собралась сейчас толпа мальчишек и все, как один, стоят, задравши свои стриженные головенки вверх: что, интересно знать, их там так привлекло? Надо бы, очень надо бы потребовать у этого наглого, грубого человека за сделанную для его духана вывеску, в придачу к еде и выпивке, еще и рубль на клеенку и на краски. Но ведь поморщится, скривится, подлец, начнет врать, изворачиваться — а, пропади ты пропадом со своим рублем, за тебя же совестно, лучше уж я пойду, чтобы только не переживать за тебя, не видеть этого твоего унижения из-за какого-то несчастного рубля... Надо бы, конечно, надо бы отложить немного денег на покупку мало-мальски приличного пальто, ведь действительно и немного их на это надо, а

то, в котором он ходит, уже давно только позорит его, давно вызывает у людей насмешки и в лицо ему, и вслед. Но какой же тоскливый, какой неприкаянный сегодня вечер, и работать не хочется, и кисти валяются из рук, и холодно, омерзительно холодно в этом сарае, где ему предстоит провести сегодняшнюю ночь. А где-то сидят сейчас хорошие люди, и беседуют, и поют, и пьют вино, и им сейчас там тепло и хорошо... Надо бы, ах, как надо бы попросить этого милого уважаемого мальчика, этого Илью Зданевича, чтобы он вместе с собственным портретом, написанным им, Нико, взял с собой в Москву и Петербург, на выставку, еще несколько наиболее удавшихся работ, поместил бы их там в большом светлом зале, показал бы понимающим людям, наконец, продал бы их там потом в музей или серьезным коллекционерам и сам бы тоже немного заработал на них — ведь купить их сейчас в Тифлисе можно, что называется, ни за грош, а там они, наверное, пойдут рублей по сто, а может быть, и того больше. Но как же не хочется просить его об этом, утруждать, обязывать, ведь у него и своих забот, наверное, полон рот...

А за все за это, уважаемые господа, и прежде всего за это нежелание никаких усилий над собой приходится, к сожалению, платить! Да-да — платить! Платить собственной жизнью, собственной судьбой... Печально, но ничего не поделаешь: за все в жизни приходится платить, в том числе и за собственную совесть, и за застенчивость, и за гордость, и за страдание и сочувствие к людям — за все приходится в жизни рано или поздно расплачиваться сполна. Ах, молодые люди, молодые люди! Так хочется предупредить вас, нынешние мальчики и девочки: опасное это дело — жить без усилий над собой, над своими порывами, без поправки на обстоятельства, которые, как известно, всегда сильнее нас... Опасное это дело! Очень опасное... И не приведи Бог кому-нибудь из вас дожить до такого конца, до которого дожил когда-то живописец Нико...

Так и в деле своем Нико Пиросмани, несомненно, вряд ли знал когда заранее, что выйдет из-под его кисти, какой пласт его души вывернется наружу и выплеснется на черную клеенку, как и что он передаст от себя тем, кто будет потом смотреть на созданное им. Писал, как хотел, как чувствовал, писал не как видели его глаза, а как видело его сердце, а почему, зачем, с какой целью — над этим он, судя по всему, не задумывался никогда. Не мысли, а музыка — то громкая, как торжественный хорал под сводами церкви, то невнят-

ная, еле слышимая, требовавшая полной сосредоточенности и тишины, чтобы как-то ухватить, поймать ее ускользающие звуки, ее робкую мелодию, — звучала в эти мгновения вокруг него и внутри него, и, вцепившись в кисть, рука сама по себе, не спрашивая, что думала и что хотела сказать голова, начинала метаться вверх и вниз по черной глянцевитой материи, туго натянутой на колченогий самодельный подрамник, стоявший перед ним.

Где, в каком бредовом, горячечном сне увидел он своего жирафа? Не было никогда такого жирафа в мире, с тех самых пор как праотец Ной собрал в своем утлом ковчеге все живое, что было позволено ему спасти от всеконечной гибели. Кто на самом деле смотрит на нас с этого полотна? Чьи глаза — жирафа или, может, той нездешней, все видящей и все проникающей силы, которой одной только ведомо, куда идет человек и что же он в конце концов сделает с самим собой и с этим хрупким, слабым, легко ранимым миром, когда-то доверенным ему в порыве отеческого великодушия? Что в них, в этих глазах? Тревога за каждого из нас? Гнев? Напоминание о смерти? И вместе с тем — сострадание к бессилию людей, к их бестолковости, их повторяющемуся из века в век нежеланию обуздать свои губительные страсти, свою мелочную и завистливую натуру, к их упорному, удручающему в своей стойкости отказу понять наконец, что всякий раз, копая яму другому, ты прежде всего копаешь ее самому себе? А может быть — но только может быть! — это вовсе и не жираф, а «Спас — ярое око», но не в церковном его представлении, а так, как его видел и понимал другой великий страдалец за людей — оборванный и вечно пьяный тифлисский живописец Нико, который так же, как и тот взошедший некогда на Голгофу, в конце концов тоже обессилел и изнемог в своих бесплодных попытках пробудить людей к чему-то лучшему и так же, как и тот, потерпев поражение, ушел от них — молча, без жалоб и проклятий, но и не оглядываясь назад.

И не собственную ли судьбу провидел Нико, когда писал пасхального агнца с пышным розовым бантом на шее, медленно, на негнущихся ногах идущего к своему ужасному, но кому-то так нужному концу? Жизнь не бывает и, наверное, не может быть без жертвоприношений — без жертв не достучишься ни до Бога, ни до людских сердец. Вы думаете, ягненок не знает, куда его ведут, не знает своего конца? Нет, знает, прекрасно знает! Потому-то и не гнутся его ноги, потому-то и глаза его полны такой тоски и

обреченности — знает он! Все знает. Знает и все-таки идет. Идет, потому что иначе нет, по вере человеческой, никакого другого способа донести земную печаль и надежду до Того, чье милосердие испокон веков было последним прибежищем для измученной одиночеством, истомившейся в бесконечных трудах и страданиях человеческой души. И какая разница, погиб ли ты под ножом мясника или, во имя того же, погибаешь день за днем, час за часом, сознавая в случайные, редкие минуты просветления, что, может быть, это и есть твое предназначение на земле? Впрочем, разница, конечно, есть: умереть сразу или погибать всю жизнь — это далеко не одно и то же. И только высшим по силе духа дано вытерпеть до конца, без жалоб упреков, то, что вытерпел Нико, — эту медленную, изо дня в день гибель, это не разделимое и не разделенное ни с кем бремя, добровольно взваленное им когда-то на себя.

И что, если переводить на привычный язык слов, хотел он сказать, написав такого почтенного, такого благообразного и рассудительного миллионера и его величественную, увешанную золотом и бриллиантами и все еще красивую жену, получивших от судьбы все, что только можно было, кроме одного — детей? А рядом с ними босоногую крестьянку, грубо и бедно одетую, с печатью вечного, от рождения еще, намеренное, испуга на лице, но зато богатую тем, чего никто в мире, кроме Бога, у нее не может отнять, — детьми, и потому гордую, и потому втайне даже высокомерную, несмотря на все свое убожество, и потому выставящую везде, где надо и где не надо, это свое великое богатство напоказ. Неужели он написал все это только затем, чтобы сказать, что раз ты миллионер, то в наказание за все твои явные и тайные грехи будь бездетным, а раз ты бедная, нищая, то тебе от Бога полагается иная радость, иная плата за все твои лишения и страдания — целый выводок детей, не отстающих от тебя ни на шаг? А может быть, иной порыв, иное движение души двигало им, когда писал он этого бездетного миллионера и эту темную, забитую крестьянку с детьми, — тихая мольба, тихое, робкое увещание к людям не завидовать друг другу, ценить свою жизнь и свою судьбу, радоваться тому, что тебе дано, и не скорбеть о том, чего у тебя нет? Одному — сила, ум, власть, деньги, другому — семья, дети, их звонкие, веселые голоса, но и то, и другое ничуть не меньше друг друга и равно достаточно для того, чтобы если и не любить своего ближнего, то по крайней мере не видеть в нем своего заклятого врага... Не

завидовать и понимать, что каждый человек, кто бы он ни был, достоин сочувствия и сострадания, что у каждого есть своя печаль, свое горе, которое болит не меньше, чем горе любого другого, и что счастливых людей на земле не было и не может быть.

А его знаменитые красотки из садов Ортачала? Толстые, ленивые, с обвисшими до живота грудями, с пустыми, равнодушными глазами, огрубевшие, ожесточившиеся и замкнувшиеся в себе, для которых любовь давно уже превратилась в тяжкую и нудную казенную повинность, каждый день отбываемую, как на фабрике, от сих до сих. А его мужеподобная, заплывшая жиром актриса Маргарита, в короткой, по колена, юбчонке и безобразных полосатых чулках, туго натянутых на ноги-тумбы? Разве Нико не умел рисовать красивых, изящных женщин, один взгляд на которых возвышает человека, пробуждая все лучшее, что в нем есть? Умел, безусловно умел — у него немало и таких работ. Но тогда что же он хотел сказать этими своими красотками и этой своей ужасающей актрисой Маргаритой, которая когда-то, согласно легенде, так нагло, беспощадно ограбила его и тем самым сломала всю его только-только начинавшую складываться самостоятельную жизнь — жизнь преуспевающего тифлисского торговца? Многие, очень многие предположения могут быть высказаны по этому поводу. Может быть, то, может быть, это...

А может быть, к примеру, и то, что прежде всего ему самому нужно было как-то оправдаться перед собой, объяснить себе и другим, почему же все-таки так ничего и не получилось у него в обыденной, указанной человеку самой природой жизни, почему он потом до конца своих дней избегал женщин и почему под старость оказался один как перст. Потому, наверное, не получилось ничего, что между ним и ими, этими женщинами, всегда была холодная, непроницаемая стена их равнодушия, их неверия никому, а он был слишком слаб, слишком ненастойчив, чтобы достучаться в конце концов до того сокровенного, что было спрятано, он знал, в самой глубине их сердец. А все, что было не полной правдой, все, что имело заднюю мысль, расчет и шло от головы, а не от сердца, — все это было не для него... Но и не они, не женщины, были виноваты в этой стене: жизнь возвела ее, жизнь заставила их обороняться, а потому и жалеть в первую очередь надо было не его, а их. Оттого-то и летят, порхают, садятся им на плечи птицы, оттого-то и дал он в руки каждой их них цветы, оттого-то и

вызывает такое щемящее чувство белый цвет, цвет чистоты и непорочности, в который он одел и красоток, лежащих в ожидании своих клиентов, и эту сгинувшую куда-то в неизвестность со всеми его деньгами и надеждами певичку из кабаре — Марго. Говорят, он как-то сказал: «Белым цветом я прощаю...» А простить и пожалеть — разве это не об одном?

И почему так похожи на священнодействие, на торжественный молебен в огромном, как сам необъятный божий мир, храме все эти его многочисленные кутежи — кутеж пяти князей, кутеж трех князей, кутеж во время сбора винограда, кутеж у Ишачьего моста, кутеж кинто с органчиком, кутеж в семейной компании, кутеж молокан? Куда, в какие заоблачные сферы возносилась его душа, когда он создавал эти полотна? Какой великий и непреходящий смысл вложил он в эти монументальные, будто вытесанные из камня фигуры людей в бурках и остроконечных бараньих шапках, сидящих у разостланной прямо на земле скатерти, и в бездонное синее небо у них над головами, и в пустоту выжженного солнцем пространства между этими людьми и темной громадой гор, возвышающихся вдаль? Какая песнь, какой молитвенный восторг рвался из его груди, когда он писал эту ночь, луну, и белый духан в лунном свете, и этих величественных седобородых старцев в черных чохах, и этих юношей с блестящими глазами, застывших в благоговейном молчании за пиршественным столом? И что означает этот призыв статного, степенного тамады с закрученными вверх усами и буйволиным рогом в руке: только ли привычную просьбу поднять и осушить стаканы во здравие собравшейся здесь сегодня почтенной компании, или же на самом деле это нечто неизмеримо большее — благословение, ниспосланное людям свыше, пожелание мира и покоя всему человеческому роду, мудрая напутственная речь почитаемого всеми священнослужителя, которому ведомы и тщетна земной суеты, и единственный данный человеку путь к спасению — братская любовь и единение с себе подобными, локоть друга, локоть соседа, в чем мы все так нуждаемся от рождения и до смерти, но чего, к нашему несчастью, требуем всегда от других и почти никогда от себя? И благодаря какому колдовству, какой магической силе проникновения в суть вещей обыденные, ничем не примечательные предметы обрели на этих огромных просторных столах значение высоких символов всего того, что объединяет, а не разъединяет людей?

Хлеб, соль, сыр, луковица, тарелка с двумя тоненькими рыбками, одинокая бутылка вина и черная кисть винограда рядом — скромное, скорее даже скудное угощение, всем своим видом говорящее о том, что дело здесь вовсе не в нем, не в угощении, а в чем-то совсем ином...

Нет, это не кутеж, не застолье! Это нечто, может быть, даже более возвышенное, более торжественное, чем рвущееся вверх гудение органа в каком-нибудь древнем готическом соборе или многоголосье старинных певческих хоров. И это не просто пир — это великопраздничное богослужение прихожан вселенского храма Добра и Справедливости во имя всеобщего братства и единения людей.

...Долго тянется зимняя ночь, особенно в декабре. Невыносимо, нескончаемо долго — даже и для того, кому, казалось бы, давно уже все на свете стало безразлично. Ничего не изменит в его жизни и это утро, как не изменило ни одно из них раньше, и ждать ему от нового, только-только нарождающегося дня нечего — этот день будет таким же, как и все, что были до него. Но как бы ни был слаб и беспомощен человек, как бы ни был он уверен в близком своем конце, надежда его всегда сильнее его самого, и умрет она, эта надежда, не прежде, чем последнее дыхание не слетит с его уст. И Нико сейчас, лежа в полутьме под своим тряпьем и мучаясь от кашля, тоже чего-то ждет, тоже на что-то надеется — может быть, всего-навсего на то, что утром хозяин какого-нибудь ближайшего духана сжалится над ним и по старой памяти поднесет ему стаканчик водки и еще отсыплет ему кучку мерцающих красными огоньками, дышащих жаром углей для его мангала, и тогда он наконец согреется в своей каморке и сможет снова попробовать что-нибудь написать. Да, написать... Если, конечно, дворовые мальчишки опять не доведут его до безумия своей дьявольской, повторяющейся изо дня в день игрой — с некоторых пор они почему-то полюбили целыми часами швырять камни в дощатую стену его каморки под лестницей и кричать одно и то же: «Художник! Художник! Бродяга художник! Нарисуй нам осла!» Господи... О, Господи! Эта-то напасть — за какие грехи?

Нико, конечно, знает, что в городе есть доктора, есть больницы, в том числе больницы для одиноких и неимущих, где могли бы позаботиться о нем и хоть как-то облегчить его страдания. Но туда надо проситься, надо устраиваться, и там нельзя будет писать, и там никто не даст ему ни глотка водки, а от смерти, неумолимо приближающейся



смерти они и там его, конечно, все равно не спасут... Знает он и о том, что в городе у него еще есть друзья, которые могли бы приютить его, и обогреть, и накормить, и налить ему стакан этого проклятого зелья, без которого ему уже не жить, и укрыть его теплой, тяжелой буркой, когда безжалостная лихорадка опять начнет ломать и тряссти его всего с головы до ног. Но он знает и то, что даже и для самых близких, самых искренних своих друзей он все-таки, что ни говори, чужой человек, все-таки он для них обуза, и тем более в такие времена, как сейчас. Кому сейчас легко? У всех одна забота на уме: как бы не погибнуть, как бы спастись самому и не дать погибнуть хоть самым близким из своих... Наконец, знает он — не может не знать — и о том, что решишь он сейчас в том виде, в каком он есть, выйти на Головинский проспект, и встать у подъезда того большого красивого дома, где собираются теперь художники, и закричать, обращаясь к ним ко всем: «Братья! Художники! Как же вы так можете? Ведь я погибаю... Ведь я тоже художник, тоже творец!» — наверняка он устыдил бы своих собратьев по искусству, наверняка заставил бы не одного из них прийти к нему на помощь. Но как же ему — человеку, которому удалось прожить целую жизнь, ни разу не склонив ни перед кем головы, — как же ему пойти на такое? Нет, пусть уж лучше остается все, как оно есть... Тем более что и недолго осталось ждать, когда ему не нужно уже будет ничего. Ничего и ни от кого...

Но и сегодня не водка, не хождение по улицам, не поиски куска хлеба от дверей к дверям — не это есть настоящая, истинная жизнь художника Нико Пиросманашвили. Это все какие-то машинальные, бессознательные действия, совершаемые его двойником, скрючившимся от холода и голода жалким бродягой Нико. А его жизнь — это его многоголовые, многокрасочные сны, и его кисти, и те долгие, но пролетающие, как одно мгновение, часы в его маленькой каморке, когда он, спрятавшись от всех, остается наедине с тем миром, который существует только в его воображении, но который на самом деле даже более реален, чем тот, что так назойливо иногда напоминает о себе чужими голосами за окном и стуком каблуков по ступенькам лестницы у него над головой.

Вот только глаза его теперь слабеют — катастрофически слабеют день ото дня, и без глотка водки теперь уже нет никакой возможности унять дрожь в руках и во всем теле, сотрясающую его по утрам. И когда работаешь, надо те-

перь часто прерываться, чтобы отогреть над мангалом одеревеневшие от холода пальцы, отказывающиеся удерживать кисть... И что хуже всего — все реже и реже удастся теперь достать черную клеенку: придется тратить чуть ли не полдня, чтобы собрать щепотку сажи со стекла керосиновой лампы для грунтовки одного-единственного куска картона — его, картон, слава Богу, пока еще можно подобрать на свалке или во дворе какого-нибудь духана, винного склада, где, несмотря на тяжелые времена, нередко все еще имеется, что и во что паковать... А картон — что такое картон? Хорошо еще, если он хоть немного переживет его самого. Но, скорее всего, и этого не будет: ткнет его брезгливым жестом хозяин ближайшей закусочной, получивший его в обмен на тарелку похлебки, куда-нибудь подальше в угол, откуда, при очередной уборке, его выбросят опять на ту же свалку, или дети сделают из него воздушного змея, или прикроет им хозяйка начатую кадушку огурцов... Но все это, конечно, не причина, совсем не причина, чтобы не писать. Нет, он должен писать — писать каждый день, преодолевая боль в груди, боль в пояснице, преодолевая лихорадку и этот страшный кашель, раздирающий в куски его легкие, писать, несмотря на слабость в руках, на голод и холод, несмотря даже на эту нарастающую темноту в глазах... А чем же еще ему жить? Чем же еще ему жить, если не писать?

А может быть, это еще и не конец, может быть, он еще перезимует и эту зиму. И опять станет тепло, опять начнется весна, и лихорадка отпустит его, и он уйдет отсюда, из этого Богом проклятого места, и опять будет сидеть целыми днями и греться на солнышке в саду у Шави Ваню, или у Титичева, или еще у кого-нибудь из своих друзей, и писать, что ему вздумается, и радоваться на божий свет... А может быть, этим летом он уедет наконец в свою деревню, уедет к своей родне, к своей земле... Уедет умирать...

И дом, и улица все еще спят мертвым сном, и до утра еще не скоро. Собственное дыхание под натянутым на голову пальто понемногу согревает Нико, боль в груди стихает, и постепенно он опять впадает в забытье.

Сны его всегда просторны, всегда легки и свободны, он ждет их, радуется им, и расстается он с ними неизменно с сожалением. В снах он всегда молод, всемогущ, всеведущ, и дух его парит над землей, и в снах он не изгой — он полноправный участник этого вечного безбрежного праздника жизни, и без него не происходит ничего ни на земле, ни на

небесах. Каким-то непостижимым образом он даже не просто участник — он творец, он создатель этого праздника: именно по его призыву, по мановению его, а не чьей-либо руки из темного, колеблющегося хаоса, разлитого во вселенной, вдруг возникают, обретают жизнь и эти исполинские горы, и эти тучные зеленые пастбища, и стада овец на склонах, и развалины древней сторожевой башни на холме, и стройная белая церковь, и колокольня с крестом, и толпа крестьян с седеньким священником у аналоя, вынесенного прямо на луг... А дальше — пышная деревенская свадьба, стрельба, веселье, молодые на лошадях, медленным шагом движущихся по горной тропе, и арба с женщинами и ребятами, и мельница над ручьем, и праздничный стол, и торжественно сидящие за ним мужчины, и танцы, и музыканты, и виноградник рядом, и даже разбойники, под шумок, пользуясь всеобщей праздничной беспечностью, раздевающие на большой дороге какого-то припозднившегося гостя до нательного белья... О, как светло всегда, как радостно на душе у Нико, когда он видит свои сны — большие, длинные сны! Как прекрасен божий мир, как мало в нем зла, и как ничтожно это зло, и в каком нерушимом согласии, в каком единении и любви живут в его снах и горы, и земля, и люди, и всякая другая божья тварь! И слезы текут тогда у него по лицу, и душа его содрогается от счастья и любви к людям, и он улыбается во сне самой лучшей, самой застенчивой и кроткой из своих улыбок — той улыбкой, которой он, бодрствуя, теперь уже не улыбается никогда.

Но бывает и так, что, отшумев, праздник сам собой уходит из его сна, стихает, растворяется в зыбкой, первозданной мгле, и на смену ему один за другим приходят люди — чаще всего те, кого он когда-то хорошо знал, но с кем он так и не успел что-то важное решить или о чем-то договорить. Давно он уже не знает, где эти люди и что с ними стало, и живы ли они вообще. Но такие, какие они были когда-то и какими он помнит их, они всегда — из года в год, из ночи в ночь — живут в его снах: они не расставались и не расстаются с ним, где бы он ни был и что бы ни происходило с ним, и, надо думать, так уже и не расстанутся теперь до самого его конца. А может быть, и потом, когда его уже не будет здесь, на земле, они вновь встретятся все вместе где-то там, в ином мире, где жизнь их будет продолжаться вечно.

Много их — людей, которых он любил когда-то от всего сердца, но которых он видит теперь только в своих

снах. Кто-то из них лишь мелькнул в длинной череде событий и лиц на его пути, кто-то приостановился, задержался, попросил его помощи или помог ему, а кто-то был в свое время настолько важен и дорог для него и занял столь большое место в его сердце, что стал уже как бы частью его самого... Мелькнул седой, с кустистыми бровями и торчащей во все стороны лохматой бородой дворник их заведения Титичева, пугавший всех своим свирепым видом, а на самом деле — добрейший, смиренный и несчастный старик, доживавший свой век в полном одиночестве среди всего этого шума, гама, музыки и безудержного разврата садов Ортачала... Мелькнул веселый черноусый рыбак в неизменной красной рубахе и засученных по колено штанах, приносивший ему в лавку по утрам только что выловленную в Куре рыбу. Нико очень любил в те далекие дни выпить с ним по стаканчику вина и потолковать о том о сем, сидя на скамеечке перед лавкой и наслаждаясь первыми лучами солнца, поднимавшегося над Тифлисом... Мелькнул, не задержался в его жизни и смысленный, по-детски заносчивый мальчишка, сын одного из его знакомых кинто, страшно гордившийся своими сапожками и картузом, как у отца, и наборным серебряным пояском поверх сатиновой рубашки, но забывавший все на свете, когда Нико ставил свой подрамник, готовый тогда сидеть рядом с ним хоть до ночи, лишь бы он не прогонял его...

Где они все теперь? И помнят ли они еще о нем, о Нико? И помнят ли еще о нем многие другие, кто тоже шел когда-то по жизни рядом с ним? Его сестра в деревне, для которой он давно еще, в молодые годы, построил там дом и которую не видел уже столько лет; его компаньон по торговле, кому он оставил, окончательно забросив это занятие, свою лавку; многочисленные собутыльники, с кем когда-то он, бывало, так весело кутил от зари и до зари; его друзья-духанщики, чьи погреба и подвалы он когда-то разрисовал, считай, от пола и до потолка; наконец, его почитатели в том блистательном и недостижимом для него мире, где его все-таки в конце концов признали, но куда его, несмотря ни на что, так и не допустили в том качестве, в каком он только и мог появиться там, — как равного любому из них...

Помнят! Конечно, помнят. Судя по тому, как часто посещают они его в снах, все они помнят о нем, так же как и он о них. Все, и даже та, которая причинила ему когда-то столько боли, та, что прошла когда-то по нему, как паровой каток по асфальту, и чуть было не раздавила его. И она

тоже, конечно, помнит о нем, если, спаси ее Господь, она еще жива. Но она жива! Она, без сомнения, жива — в Петербурге ли, в Париже, в роскошном, сияющем огнями особняке или в убогой ночлежке для престарелых, — но она жива! Иначе она не приходила бы так часто к нему по ночам, не пристраивалась бы у его изголовья, шурша своими юбками и обдавая его все тем же еле уловимым запахом духов, сводившим когда-то его с ума, не целовала бы его глаза, не повторяла бы, плача и тоскуя вместе с ним и глядя своими длинными пальцами его худые, обтянутые кожей скулы и виски: «Бедный, бедный мой... Как же ты жил без меня? И где же ты был все эти годы, и где же была я? Не правда ли, ты все простил мне, бедный мой художник? Мне глупой, взбалмошной женщине, любившей тебя, но испугавшейся твоей любви и твоей мученической судьбы и от этого непоправимо несчастной до конца своих дней... Несчастной, может быть, даже больше, чем несчастен ты...» О, он простил! Он давно тебе все простил, Марго! Ты не терзай себя, Марго, не казни, не убивайся так, снова и снова вымаливая у него прощения, когда ты опять приходишь к нему в его снах... Ты лучше вспомни, как вам было хорошо и счастливо тогда вдвоем, каким молодым и щедрым был тогда он и какой любящей, какой нежной могла и умела быть ты... Ну и что же, что ты исчезла тогда в одну ночь, не сказав никому ни слова? Это было давно, Марго, очень давно. И, наверное, так оно и должно было быть, так оно и было написано вам обоим на небесах. Марго... Ангел-хранитель его, его единственная любовь, женщина, убившая в нем торговца и сделавшая из него художника, — актриса из кабаре Марго...

Мучительный, болезненный стон вновь раздается в этой обросшей инеем, окончательно вымерзшей к утру камерке. Стон старого, позабытого всеми человека, но не затем, чтобы привлечь к себе чье-то внимание, а просто потому, что человек этот уже не может ни вздохнуть, ни пошевелиться, чтобы не застонать. Темная груда тряпья, наваленного на доски, приподнимается и выпячивается бугром, пальто, прикрывающее эту груду, сползает на пол, но худая старческая рука успевает схватить его за обтрепанный воротник и втащить обратно к себе, на мгновенно съжившиеся от холода плечи и грудь. Затем из-под пальто медленно высовываются две ноги в полосатых дюгоновых штанах и прохудившихся носках и ощупью, осторожно начинают шарить по мерзлому земляному полу в поисках пары старых разбитых

башмаков, которым полагается быть здесь, у лежанки, но которых сейчас почему-то на этом месте нет. Куда же они запропастились, а? Ох беда, беда... Плохо быть старым, плохо быть больным, плохо не помнить ничего из того, что было вчера... Не мог же он вернуться вчера домой босой... А, вот они где... Слава Богу, нашлись... Дрожащая негнущаяся нога старика (а старику, между прочим, всего пятьдесят с небольшим) вытягивается подальше к окну, большой бурый палец, торчащий из носка, цепляется за край башмака, забившегося под деревянный ящик, и с усилием подтягивает его к лежанке. Потом таким же способом подтягивается и другой башмак, но на то, чтобы всунуть в них ноги, у старика уже не хватает сил — из груди опять вырывается стон, и спина его в изнеможении откидывается к стене. Крупный, холодный пот проступает у него на лбу, грудь болит, в ушах что-то гулко бухает в такт редким, пропадающим куда-то ударам сердца, и он долго сидит так, прислушиваясь к боли в груди.

На дворе уже окончательно рассвело. Выпавший ночью снег поблескивает на подоконнике, на крышах сарайчиков, на толстом изогнутом стволе старого ореха, и теперь даже этого крохотного оконца достаточно, чтобы старик мог видеть и различить в своей каморке все предметы и даже собственное дыхание, легкими струйками возносящееся к потолку. Понемногу дом и двор начинают наполняться голосами: заскрипели открываемые кем-то ворота, лязгнула цепь от ведра, брошенного в колодец, простучали каблуки по лестнице у него над головой, вспыхнула и тут же погасла первая легкая перебранка между хозяйкой и кем-то из ее домашних — там, наверху, на галерее, опоясывающей дом.

### III

Полдень. Утренняя суета в доме улеглась. Хозяин и хозяйка куда-то ушли, детей их тоже не слышно и не видно — наверное, попрятались, сорванцы, по углам от холода и сидят сейчас, греются где-нибудь, где тепло. Тихо в доме, тихо во дворе... И тихо, ах, как же тихо в этой маленькой каморке под лестницей! Где в одиночестве, укутавшись в пальто и сложа руки на коленях, сидит на неприбранном топчане Нико, уже успевший где-то выпить свой стакан водки и теперь вновь начинающий понемногу оживать. Он неподвижен, глаза его устремлены в одну точку, но он ниче-

го не видит перед собой — он слушает, как тепло медленно расплзается по его одеревеневшему от холода телу и как каждая жилочка, каждая косточка в нем просыпается и начинает отвечать жизнью на это блаженное, спасительное тепло.

Снег на улице еще не стаял, но на подоконнике его уже нет. По замызганному оконному стеклу сверху вниз стекают тоненькие извилистые струйки влаги, и в пазах и по углам почерневшей от старости оконной рамы скапливается вода. Над головой Нико, в верхнем левом углу, набухло и поползло вниз по дощатой стене каморки темное пятно — это начал таять снег, скопившийся за ночь на последней ступеньке лестницы, под самым порошком двери, ведущей на второй этаж. В каморке теперь почти уже тепло: у окна, на деревянном ящике, дышит ровным стойким жаром мангал, доверху наполненный раскаленными углями, — бог его знает, по какой причине хозяйка сама сегодня прислала ему целый противень крупного, только что выгребленного из печи древесного угля. Перед Нико на колченогом подрамнике стоит большой черный кусок картона, отгрунтованного еще вчера, а рядом, на другом деревянном ящике, придвинутом поближе к топчану, лежат кисти, тюбики краски и стоит банка с водой.

Но не скоро, нет, не скоро еще тепло от водки и от мангала сделает вновь из него человека, способного взять в руки кисть! Было время, когда ему достаточно было только осушить маленький стаканчик с прозрачной, мгновенно схватывающей горло жидкостью, чтобы дрожь в руках его утихла, голова прояснилась и спокойная уверенность мастера в себе и в своих силах вновь вернулась к нему. Было такое время, было! Но, к сожалению, прошло. Теперь после этого глотка, которого так жаждет по утрам его исстрадавшаяся, истомившаяся за ночь душа, проходят иной раз целые часы, прежде чем ему удастся вернуться в то состояние, когда он может что-то делать, а не просто сидеть на топчане в своей каморке, раскачиваясь из стороны в сторону и бессмысленно глядя ничего не видящими глазами прямо перед собой. Теперь все по-другому, все не как прежде. Правда, и теперь тоже после принятого где-нибудь в ближайшем подвале маленького стаканчика этот алчный, злобный зверь, грызущий его изнутри, тотчас же успокаивается и замолкает. Но зато ноги его сразу делаются ватными, голова начинает ходить кругами, и ему приходится потом придерживаться за стены домов, а то и за уличные

фонари, чтобы не упасть и добрести, не разбившись и не вывалявшись в грязи, до своей норы. А дома, хмельной, согрившись у мангала, он опять засыпает, прислонясь спиной к стене либо просто свесив голову на грудь, и опять видит свои причудливые сны, и ему опять не хочется просыпаться, не хочется возвращаться в эту давно уже опостылевшую ему жизнь, в которой кроме снов и живописи есть еще множество других никому не нужных, но никак не дающих о себе забыть вещей — холод, голод, боль в груди, грязное белье и рваные носки, люди, которым он все время чего-то должен, соседи, злые дети, полиция, тюрьмы, сумасшедшие дома, наконец, эта страшная война, перевернувшая все вверх дном и превратившая людей в нелюдей.

Зачем ему просыпаться? Зачем? Чтобы опять начать вспоминать то, что не нужно вспоминать и не хочется вспоминать? Чтобы опять начать пересчитывать обиды и раны, на которые так щедра была его жизнь, и чтобы вновь ощутить свое полное бессилие что-либо в ней изменить? Может ли он забыть о своей безысходной нищете и своих болезнях, о насмешках и пренебрежении множества ничего не понимающих в искусстве людей, о высокомерной, унижительной снисходительности к нему там, наверху? Может ли он забыть об этих покровительственных, с похлопыванием по плечу статьях о нем в прессе или о той злобной карикатуре на него, опубликованной этим летом в одной из тифлиссских газет, — карикатуре, которая так тогда поразила его и была так похожа на удар кисти по голове из-за угла? Нет, не может. Не может он забыть. И могут ли все его явные и тайные недруги вдруг превратиться даже не в доброжелателей, а хотя бы просто в порядочных людей, способных по совести, непредвзято, оценить то, что удалось ему сделать за его жизнь? Нет, не могут. Не может он, и не могут они. Ничего уже не может измениться в его жизни. И незачем ему самому торопить выход из этого блаженного пьяного забытья, когда сон и явь мешаются в одно и когда ему не надо помнить ни о насущном дне, ни о том, что ждет его впереди... Спи, Нико, пока спится... Спи. Спи и не думай ни о чем...

Да, но откуда этот стук? Стук-стук-стук — как будто палкой по голове. Откуда этот стук — из сна? Или это не сон, это явь? И надо ли ему как-то отвечать на него? Если он из сна, то, конечно, нет, не надо, и не надо даже пытаться понять, к чему он и что он означает, надо только дожидаться, пока он не прекратится сам собой. Но если он не из сна, если это явь? Кто же это тогда? Хозяин? Полиция? Опять будут



приставать, опять будут спрашивать у него паспорт, а где он им его возьмет? А может быть, это не хозяин и не полиция, может быть, это хозяйские дети, выдумавшие теперь новую игру — бросаться камнями и стучать к нему не в стену, а в дверь? О, Господи... Нет покоя человеку на земле. И здесь, в этой норе, ему не отсидеться и не скрыться от людей... Надо подниматься и идти открывать...

Когда Нико, пригнув голову и придерживаясь рукой за косяк, толчком открывает скрипучую дверь своей каморки, дневной свет со двора на мгновение ослепляет его. На пороге стоят две человеческие фигуры, но против света его большие, привыкшие к полутьме глаза долго не могут разобрать их лиц. Что-то зловещее чудится ему в этих темных, занимающих весь дверной проем фигурах, и, пугаясь, он отступает назад.

— Кто вы? — спрашивает он.

— Вы, батона, художник Нико Пиросманашвили? — обращается к нему один из этих людей. Грубоватый, охрипший от холода голос его еще более настораживает Нико, и он медлит с ответом, раздумывая, назвать ли ему себя или же сразу, не вдаваясь в дальнейшие объяснения, захлопнуть перед ними дверь. Молчание затягивается. Но гости явно не собираются уходить. Теперь, когда глаза его привыкли к свету, он видит, что это два вполне приличных на вид молодых человека, скорее всего не имеющих к полиции никакого отношения. Но даже если и так, все равно приход их опасен и подозрителен. Что еще, какую еще новую обиду приготовила ему жизнь?

— Да, это я, — тихо произносит наконец Нико. — Но кто вы? И что вам нужно от меня?

— Мы тоже художники, Николай Асланович... Мы пришли повидаться с вами, поговорить...

— Вы... Вы пришли как друзья? Или как враги?

— Николай Асланович, мы художники.

— Вы братья?

— Мы? Н-нет... Мы... То есть в каком, простите, смысле? Что вы имеете в виду?

— Вы мои братья? Вы тоже кистью зарабатываете свой хлеб?

— Да, Николай Асланович, да. Мы профессиональные художники... Правда, мы толком еще нигде не выставились...

— Николай Асланович, мы же знакомы с вами! Вы, наверное, не помните... Нас когда-то знакомил Илья Здане-

вич, — перебивает этот грубоватый голос другой, помягче и, как кажется Нико, подобрей. — Меня зовут Ладо. Ладо Гудиашвили... Вы не помните меня?

— Ладо? Ладо... Вас я, кажется, помню, Ладо... Но если не помню — вы не обижайтесь на меня. Я стал совсем стар. И, кроме того, я нездоров. Давно нездоров.

— Мы хотим вам помочь, Николай Асланович. Мы пришли как друзья, не как враги...

— Мне никто уже не может помочь, молодые люди. Поздно. Мне уже пора умирать... Но что же мы стоим так, на пороге? Прошу вас, проходите. Извините меня, здесь у меня не очень уютно, я живу один. Но зато здесь тихо. И мы сможем с вами спокойно посидеть, поговорить. Конечно, если мальчишки со двора опять не примутся швырять камни в стену. Или в дверь... Но это не беда. Если кто-нибудь из вас прикрикнет на них — они сразу убегут. Это они меня не боятся. А вы молодые, сильные. Они увидят вас — и сразу убегут...

Конечно, собираясь сюда, оба они — и Ладо Гудиашвили, и Михе Чиаурели — были готовы ко многому. И все-таки то, что они увидели, втиснувшись в эту крохотную каморку, заставило их содрогнуться. Прямо скажем, зрелище было не для слабонервных: многое и им тоже довелось уже повидать в своей жизни, особенно в последние годы, когда печаль и страдания вошли почти в каждый тифлисский дом, но такой свирепой нищеты, такой заброшенности и ненужности человека никому, даже самому себе, им еще не доводилось видеть никогда. Голые доски, пустота, рваное тряпье, серый пепел на остывающем мангале, ссохшаяся корка хлеба на подоконнике и кувшин воды в углу — и это все, что нашлось у Бога и у людей для человека, прожившего и протрудившегося на земле больше, чем полсотни лет? И какого человека! А запах... О, Господи, какой же тяжкий, смрадный запах наполнял это жильё, вернее, эту собачью конуру...

— И вы... Вы здесь живете?! Ну и ну... — вырвалось у Чиаурели.

Ладо укоризненно посмотрел на него и даже успел дернуть его за рукав, но было уже поздно. Губы Нико сжались, скулы напряглись, и в глазах его вспыхнул гнев. Он даже попытался вскинуть голову, распрямиться и посмотреть на этого бесцеремонного пришельца сверху вниз: как смеешь ты, наглец? Но, видимо, и гордость тоже была уже теперь не по силам ему. Прошло мгновение, и глаза его опять потухли,

плечи поникли, седая голова свесилась на грудь, и, вздохнув, он тяжело и безразлично опустил на свой топчан.

— Да, это мой дом. Здесь я живу. И если вам здесь так не нравится, молодые люди, то я вас не звал...

— Нет, батона, нет! Дело не в том, что не нравится. Дело не в этом... — попытался исправить неловкость своего друга Ладо. — Просто трудно понять, как вы здесь работаете. Как вам удастся здесь писать. Вы ведь пишете здесь, не в другом месте?

— Да, я пишу здесь... Я всегда писал там, где я жил. И у меня никогда не было мастерской... Но я привык. По правде говоря, она мне и не нужна. Была бы клеенка, был бы картон, краски... Был бы стакан водки. А писать я могу всегда и везде. Хотите, я сейчас здесь что-нибудь напишу для вас? Я с удовольствием напишу. Только тогда кому-нибудь из вас надо будет сходить в духан... Это недалеко, здесь рядом. Принести немного выпить и поесть для меня.

— А с клеенкой, видимо, покончено, Николай Асланович? — спросил Чиаурели, похоже, пропустив мимо ушей эту его не то просьбу, не то предложение. — Я смотрю, вы перешли теперь на картон?

— Да, я теперь пишу на картоне... Напрасно им пренебрегают. Это не такой уж плохой материал... А клеенку сейчас трудно достать...

— Сами грунтуете его?

— Сам? Конечно, сам. А кто же еще?... Хотите, я и вас научу? Это так просто. Просто, но все-таки надо уметь. Сейчас мы с вами зажжем керосиновую лампу, и она начнет чадить... А я соберу сажу с нее, растворю, размешаю... Из сажи получается прекрасная грунтовка, надо только уметь ее размешать...

Нико приподнялся с топчана и протянул руку к лампе с длинным закопченным стеклом, стоявшей на подоконнике. Но Ладо остановил его:

— Нам совестно отнимать у вас много времени, Николай Асланович. Мы ведь пришли к вам по делу, а в гости хотели бы не так прийти, не накоротке...

— По делу?... А какое дело у вас ко мне? У кого вообще еще может быть дело ко мне? Разве там, в городе, кто-нибудь еще помнит обо мне?

— Помнят, батона, помнят! О вас многие помнят. Помнят и хотят вам помочь... Может быть, вы знаете, что у нас образовалось общество грузинских художников. Будем друг друга поддерживать, друг другу помогать... Общество пору-

чило нам разыскать вас и передать вот этот конверт. Здесь немного денег для вас. На одежду, на краски...

— На хлеб, — зачем-то вставил Чиаурели.

— Да, конечно, и на хлеб тоже... Мы понимаем, батано, вам ведь сейчас нелегко. Но ведь не вечно же так будет продолжаться! Вы поправитесь, опять начнете много работать, начнете выставляться...

— Не надо, Ладо... Не надо, добрый мой, хороший друг Ладо... Ведь вас, кажется, так зовут — Ладо? Да, я помню, — Ладо. Мы с вами и раньше встречались, Ладо... Но это было давно. Это было, наверное, еще до войны.

— До войны я был еще мальчиком, батано...

— Да что я, в самом деле! Ведь вы еще так молоды. И ваш приятель тоже так молод. Он, наверное, еще моложе вас. Спасибо, молодые люди, спасибо вам за все... Я обязательно куплю на эти деньги краски. И, конечно, клеенку, если повезет. Спасибо вам. Господь непременно воздаст вам за вашу доброту... О, так значит, у меня сегодня праздник? В моем доме друзья, они пришли меня навестить! Справиться о моих делах, о моем здоровье... Это большой праздник, молодые люди! Только чем же мне вас угостить? Я совсем не готов к такому празднику. Я, откровенно говоря, просто не думал, что ко мне еще может кто-нибудь прийти. И у меня нет ни вина, ни лимонада... Хотите воды? У нас здесь прекрасная вода. Великолепная вода! Чистая, прозрачная. Такой в Тифлисе больше уже нет нигде...

— Спасибо, батано. Не тревожьтесь, не стоит. Когда холодно, не хочется воды, — вновь остановил его Ладо.

— Холодно? Разве здесь холодно? А совсем недавно еще было тепло. Ах, да что же это я... Ну конечно — угли погасли, мангал остыл... Но это ничего... Я сейчас поднимусь к хозяевам, они мне отсыпят еще углей. Я скажу им, что у меня гости, уважаемые люди, что у меня здесь холодно... Вы посидите тут немного без меня, я скоро вернусь. И у нас опять будет тепло... Ах, глоток бы водки сейчас... Вы только не уходите, хорошо? Мне очень хочется с вами посидеть, поговорить... Мы еще долго будем разговаривать. Вы мне расскажете про себя, я вам про себя. И еще мы поговорим об искусстве. Я давно не говорил ни с кем об искусстве. Да и не с кем мне здесь говорить. Все молчу, молчу...

С трудом разгибая затекшую спину, Нико поднялся с топчана, снял дрожащими руками с ящика мангал и, прижав его к груди, шагнул к двери. Но его качнуло, и ему пришлось постоять немного, прислонившись к косяку, чтобы побо-

ротъ внезапное головокружение и вновь обрести твердость в ногах. Потом, слегка сначала отстранившись, Нико всем телом налег на дверь — дверь со скрипом подалась, впустив внутрь волну холода и на мгновение осветив полумрак каморки отблеском девственно чистого снега, покрывавшего двор. Прошло еще несколько мгновений, и над головой у них раздались медленные, тяжелые шаги по ступенькам, ведущим вверх, на второй этаж. Нико, должно быть, нелегко было подниматься по лестнице: на середине ее он приостановился, чтобы перевести дух.

Тихо стало в каморке. Так тихо, что Ладо даже постеснялся кашлянуть, когда в горле у него вдруг запершило — то ли от холода, то ли от въевшейся здесь повсюду копоти. А может быть, и еще от чего...

— Все, Ладо! Ты как знаешь, а я больше не могу, — поднялся вдруг со своего места Чиаурели, застегивая пальто и решительно нахлобучивая свою широкополую шляпу на самые глаза. — Я уйду. Деньги мы передали, а больше нам здесь делать нечего. Сил больше нет на это все смотреть... Даже дышать — и то не вмоготу. Господи, какая же вонь! Не могу, я задыхаюсь, Ладо... Пошли! Пошли, пока он не пришел...

— Нельзя так, Михе. Он обидится. Нехорошо. Потерпи еще немного...

— Что плохо? Что плохо, интересно знать? Что ни ты, ни я ничем не можем ему помочь? Так мы-то тут причем?.. Ты что — не видишь? Не понимаешь? Его же в больницу надо класть, в сумасшедший дом, а не в гости к нему ходить. И не на собрания его звать...

— Он один, Михе. Совсем один...

— Ну и что? Ты что, поселишься здесь? Или к себе его возьмешь? Будешь кормить его, отогревать, ноги ему мыть?.. Зачем мы вообще с тобой ввязались в это дело? Зачем? Ведь он же через час проплет все эти деньги. Все, до копейки проплет!.. Краски, клеенки... Господи, какие краски?! Какие клеенки?! Мы отсюда — он в духан, на том и кончилось все. Тоже мне, раскудахтались: деньги, поддержка, общество художников. Какие деньги, какое общество?! Пошли, Ладо! Пошли! Я больше не могу.

— Не уходи, Михе. Прошу тебя, потерпи. Мне будет с ним трудно без тебя. Вдвоем легче.

— Говорю тебе — пойдём! Зачем тебе это самоистязание? Что ты можешь сделать? Кто вообще может что теперь сделать для него? Он погиб, Ладо. Понимаешь? Погиб! Обе-

щаю тебе — я первый понесу его гроб. Да, великий человек, да, великий художник! Но единственное, что мы можем теперь сделать для него, — это поместить его в сумасшедший дом. Так он же не пойдет! Ни за что не пойдет. Что же, вязать его будешь, полицию будешь звать? Ну, так как? Идешь?

— Нет, Михе. Я не могу так. Я его дождусь.

— Ну, как знаешь. У меня совесть чиста. Будь здоров. Завтра я тебя найду.

Чиаурели ушел. Когда спустя некоторое время хозяин каморки вернулся, неся перед собой пышущий жаром мангал, Ладо в одиночестве сидел на ящике у окна, сгорбившись и сунув озябшие руки в карманы своего широкого парижского пальто. Да, на свете был Париж, был Монмартр, по которому он, кажется, еще вчера только бродил, забросив за плечи свой этюдник и с любопытством озираясь по сторонам, и были еще Мюнхен, и Милан, и Флоренция, и вечный город Рим, не знающий ни забот, ни печалей, ни зимы. Но была еще на свете и эта простывшая насквозь каморка под лестницей, и был еще великий художник Нико, не выдавший никогда в своей жизни ни Парижа, ни Рима, ни даже Петербурга и погибающий сегодня здесь, в этой каморке, оттого, что, Михе прав, никому нет до него никакого дела и, наверное, и не было никогда. О, Господи, как же все не так, как же все нескладно устроено в этом мире! И разве можно во всем этом, да расшибись ты головой о стенку, хоть что-нибудь понять?

Увидев хозяина, неловко протискивавшегося со своей ношей в дверь, Ладо тотчас вскочил, освобождая место для мангала. Но Нико, покачав головой, остановил его.

— Сидите, сидите... Мы поставим его здесь, у топчана. Так будет даже лучше. Отсюда эта каморка быстрее нагревается. А там, у окна, дует, там угли остывают быстрее. Но когда работаешь, приходится выбирать. Когда мангал на ящике у окна — правая рука отогревается. А если он здесь, у топчана, она мерзнет... Вы ведь Ладо? Конечно! Конечно же, вы — Ладо... Мой друг Ладо. Мы с вами давно знакомы. Это было еще до войны. И сегодня вы пришли меня навестить. Но вы ведь вроде бы пришли не один? Или это мне показалось? Может быть, это было в какой-то другой раз, не сейчас? С вами еще был молодой человек в такой большой черной шляпе. И он был тоже художник, как и вы.

— Извините его, батона. Но у него очень срочные дела. У него там какие-то сложности дома. И он больше не мог ждать.

— Конечно, конечно, Ладо. Не стоит извиняться. Я понимаю. У всех есть дела, всем надо спешить. И кроме того, здесь холодно, неудобно, сидит какой-то старик, кашляет, вздыхает, что-то там бормочет себе под нос. А вам не надо торопиться, Ладо? Вы еще посидите со мной? Может быть, я схожу принесу немного водки? У нас же теперь есть деньги, и это совсем недалеко. А потом мы посидим, поговорим...

— Не надо, Николай Асланович. Не надо водки. Я не пью...

— Совсем?

— Совсем. И вино тоже не пью...

— Вам нельзя? У вас слабое здоровье?

— Да нет, здоровье не слабое... Просто я как-то решил, что не буду пить. Ни при каких обстоятельствах. Все это знают. И друзья мои тоже знают. И никогда не заставляют меня...

— Наверное, это хорошо. Наверное, это очень хорошо — не пить. Вы молодой, Ладо. Вам можно не пить. А мне уже нельзя... Если я не выпью, я работать не могу — вот что хуже всего. Пальцы не слушаются, и в глазах какая-то муть, какая-то пелена. А выпью — легче. Когда я выпью, я думаю: еще не конец, Нико, еще поживем! Еще сделаем что-нибудь... Я ведь, Ладо, еще не все написал, что хотел. Мне бы еще много чего хотелось написать. Не хочется умирать, Ладо! Ах, как не хочется, если бы кто знал...

— Вам нельзя умирать, Николай Асланович. Вы великий художник, вы наша надежда. Молодежь любит вас... Верит в вас, батона! Да-да, верит в вас! Как же так — умирать? Нет, нельзя вам умирать. Да если хотите знать, мы, батона, теперь все ваши ученики. Ну, может быть, и не все... Но, уверяю вас, очень, очень многие наши художники теперь согласны, что ваш взгляд на жизнь, ваша живопись — это то, за чем будущее. Мы устали от ползучего реализма, от этого отвратительного правдоподобия. Это искусство рабов и для рабов! Рабов жизни, рабов государства, ходячей морали, ходячих представлений... Художник должен создавать жизнь, творить ее заново — не так ли, батона? Творить! Из себя ее творить, а не подчиняться ей. Вы, дорогой Николай Асланович, первым показали нам здесь, в Тифлисе, дорогу, и будьте уверены, мы с нее теперь уже никуда не свернем...

— Я не великий... Я мастер... Я знаю, что я мастер. Но я не великий, Ладо.

— Человек не может сам о себе судить, батоно. Ему это не дано.

— Нет, Ладо, я не великий. Я знаю. Я художник. Неплохой художник. Люди любят меня, любят смотреть на мои картины. Здороваются со мной, приглашают к столу, угощают. спрашивают о здоровье, спрашивают, где я пропал. Но я не великий, Ладо... У меня было много друзей, Ладо. Очень много. Но учеников у меня не было никогда. А великий — это как Христос. У него должны быть апостолы, должны быть ученики. А у меня не может быть учеников, Ладо. Учитель прежде всего сам должен знать, как надо и как не надо. А я? Я не знаю, как надо. Я знаю только, что так я могу, а так — не могу, что так хорошо, а так нехорошо. А почему, отчего — нет, не знаю я, почему и отчего...

— А вам и не надо знать, батоно. Вам писать надо... Ваша живопись сама за себя говорит...

— Кому говорит, кому не говорит... Вот вы там, наверху, я слышал, все время ссоритесь: это правильно, а это неправильно, это искусство, а это не искусство... А я не знаю, что правильно и что неправильно. Нравится мне? Значит, хорошо. Не нравится? Значит, для меня нехорошо. Но это для меня нехорошо! А может быть, для других — хорошо? Разве я им судья? Разве могу я за них решить, что хорошо для них, а что нехорошо?.. И правдоподобие хорошо, и неправдоподобие — тоже, бывает, хорошо. А почему так — кто же может это сказать? Таинство Божее. И человеку его не объяснить. Почувствовать человек может, а объяснить? Нет, не может он это объяснить. Да и не надо ничего объяснять... Лишь бы сердце было, лишь бы талант в твоей вещи был, и я бы этот талант слышал, видел, душой бы чувствовал — а остальное все не важно, Ладо. Совсем не важно... Вот вы пришли ко мне, вам нравится, что я делаю, вы вспомнили обо мне — чего же еще мне хотеть? И раньше тоже люди приходили, благодарили меня... Говорят, что и в Москве, и даже в Париже теперь обо мне знают... Это очень хорошо, что знают. Как подумаешь об этом — легче умирать. Не так самого себя жалко, и не такой уж пропащей кажется жизнь... Но великий? Нет, Ладо. Это не я великий... Это Шота Руставели великий, царь Ираклий великий... Георгий Саакадзе, конечно, тоже был великий человек... Им люди поклоняются и будут поклоняться, пока мир стоит. О них песни поют... А мы, художники? Доставил кому-то радость — ну и хватит с тебя. За одно за это Господь половину грехов твоих простит...



— Ну, насчет грехов-то, Николай Асланович, не вам бы, наверное, об этом говорить... Ваша жизнь — святая жизнь...

— Нет-нет, Ладо. Я тоже грешный человек. Я тоже сделал много зла. И многих хороших людей в своей жизни обидел ни за что... А вот молиться я не умел. Никогда не умел. И в церкви я тоже уже не помню, когда был... Но иногда мне кажется... Иногда мне кажется, что картины мои — это и есть моя молитва. Одна и та же молитва с того самого дня, когда я впервые взял в руки кисть... Услышал ли Господь эту молитву? Простил ли меня? Или голос мой был слишком слаб, чтобы небо услышало его? Ах, как бы хотелось это знать, Ладо... Особенно теперь, когда уже близок конец...

— Про небо мне сказать нечего, Николай Асланович. Но на земле... На земле вас услышали, это-то я точно знаю. И не только я это знаю... Я должен вам передать еще одну нашу просьбу, батона. Пожалуйста, приходите завтра на наше собрание. Вас там очень ждут. Многие ждут... Мы должны, батона, объединиться, мы должны помогать друг другу. У нас будет союз, будет кому защищать наши интересы. А без вас этот союз — не союз. Это всего лишь группа. Пусть многочисленная, но только группа. Тифлис огромный город, батона, но в нем сегодня есть только один художник мирового класса — это вы. Какой же союз без вас? Мы очень просим вас, Николай Асланович...

— Собрание... Это значит будет много людей... Там будет много людей, Ладо?

— Много. Уверен, что много. По существу, батона, это же первое учредительное заседание нашего общества. Я думаю, все придут.

— Я не знаю, Ладо... Я боюсь, когда много людей...

— Зачем же бояться, Николай Асланович? Это все художники, скульпторы, критики. Они все знают вас.

— Вы добрый человек, Ладо. Вы мой друг... Но я знаю — у вас, наверху, многие не любят меня. И я боюсь, что меня там будут обижать.

— Нет-нет, батона! Ручаюсь, они хорошо встретят вас. Положитесь на нас — мы никому не позволим вас обижать... И нам очень нужно, чтобы вы пришли.

— Наверное, это будет большое торжество, Ладо... Все будут хорошо одеты, будут сидеть в мягких креслах, в большом светлом зале... А у меня такое старое пальто. И нет приличного скюртука, приличной рубашки... Мне будет неловко за себя, Ладо. Я буду стесняться, жаться по углам...

— Что вы, батоно! Кому какое дело, как вы одеты? Вы великий художник, и при чем тут старый сюртук или старое пальто? Чего вам стыдиться? Да если уж на то пошло, это пусть они стыдятся, а не вы! Это им должно быть стыдно, что гордость Тифлиса, гордость Грузии живет у них у всех на глазах в такой бедности. Хотите, мы сразу же выберем вас в президиум? Чтобы весь зал видел вас, знал, что вы с нами? О, это прекрасная мысль, батоно! Замечательная мысль! Договорились? Мы сразу же... Просто сразу же, как только вы войдете в зал, выбираем вас в президиум. И это, я знаю, будет расценено всеми не только как знак нашего уважения лично к вам, но и как наше отношение к тому направлению в живописи, которое вы представляете. А это исключительно важно именно сегодня, сейчас, в свете тех принципиальных разногласий, наличие которых...

→ Подождите, подождите, Ладо. Не надо так быстро... У меня что-то опять закружилась голова. И я плохо стал вас понимать. Как вы сказали? Куда вы хотите выбрать меня?

— В президиум. В президиум нашего собрания.

— А что это такое? Я не знаю этого слова...

— Ну, на каждом собрании обычно выбирается президиум. Это такой стол, который стоит в дальнем конце зала, а за ним сидят наиболее уважаемые члены собрания.

— А зачем они там сидят?

— Как зачем? Чтобы руководить собранием. Ну, и для почета, для уважения, конечно...

— А другие где сидят?

— Кто другие, батоно?

— Собрание где сидит?

— Собрание сидит в зале. Перед этим столом...

— Получается что же... Получается, эти смотрят на тех, а те — на этих? Так?

— Так. А как же иначе, батоно? Иначе и не бывает...

— Я не об этом, Ладо. Я не о том, чтобы иначе... Я о том, что не надо, наверное, меня никуда выбирать... Это не для меня. Я обязательно сделаю что-нибудь не так.

— Хорошо, батоно. Если вы не хотите — не будем. В конце концов это не так уж важно. Важно, чтобы вы пришли, чтобы люди видели вас. Сам факт вашего прихода — это тоже уже очень много. А в президиуме, вы правы, пусть кто-нибудь другой сидит... На это охотники, конечно, найдутся... Ну, так как? Придете?

— Не знаю, Ладо. Приду. Наверное, приду... Хотя, по совести говоря, не хочется мне приходиться. Я боюсь людей, Ладо. Боюсь. Слишком я от них отвык...

Начинало уже смеркаться, когда они выбрались наконец из этой каморки на улицу. Нико настоял на том, чтобы проводить гостя. Во дворах, на крышах домов и сараев еще лежал снег, но на выщербленных тротуарах и на ухабистой, в провалах и ямах, мостовой он успел уже растаять и превратился в густую, хлюпающую под ногами грязь. Было зябко, сыро, по улицам расползлся туман, и в глухих переулках, подле приютившихся в глубине их приземистых торговых складов и других столь же казенных по виду строений, уже зажглись, тускло просвечивая сквозь молочную пелену тумана, первые фонари.

На улице, кроме них двоих, не было ни души. Но рабочий день подходил к концу, и с минуты на минуту улицы и переулки предместья должны были наполниться усталыми, спешащими с работы людьми. Где-то за спиной у них, в надвигающейся тьме, как некое неведомое чудовище, тяжело вздыхал и ухал, издавая при этом протяжное свистящее сипенье, паровой молот. Неподалеку помещались железнодорожные мастерские, и это мерное, регулярно повторяющееся сипенье и такие же мерные падающие удары давно уже стали привычными для жителей Дидубе — под них они просыпались, под них же они и ложились спать. Ко всему привыкает и приспосабливается человек, и когда случилось, что по какой-то причине тяжелое дыхание этой чудовищной машины вдруг останавливалось и наступала тишина, людьми в предместье овладевало беспокойство: слишком гнетущей, слишком тревожной казалась тогда она, тишина, и им хотелось, чтобы поскорее опять возобновилось это уханье и эти удары и чтобы опять все стало так, как оно и было всегда.

Они шли по направлению к вокзалу. Разговор их иссяк еще там, в каморке под лестницей, и теперь они шли молча: Ладо — старательно обходя многочисленные темные лужи и ямы, Нико — почти не разбирая дороги и лишь изредка бормоча что-то недовольное себе под нос, когда нога его спотыкалась о камень или соскальзывала в грязь. Иногда Ладо успевал бросить искоса взгляд на своего спутника: сутулая спина, потухший взгляд, мятая шляпа, обтрепанное, забрызганное грязью понизу пальто, жалкий обрывок шарфа, повязанный на голую шею, — кто бы мог подумать, что это идет человек, одно знакомство с которым для подав-

ляющего большинства людей могло бы стать самым крупным, самым значительным событием за всю отпущенную на их долю жизнь? Но кому здесь до этого дело, и у кого есть время и желание думать о таких вещах? Здесь, в этом городе, и особенно в этом задымленном, утопающем в грязи предместье, где измученный трудами и заботами человек от рождения своего, наверное, и до самой смерти не смел даже взгляда оторвать от земли?

Наступал вечер. Набухшая сыростью, глухая декабрьская темнота все плотнее окутывала город, и поближе к вокзалу, в Нахаловке и в прилегавших к вокзальной площади улицах, газовые фонари горели уже не только на перекрестках, но и вдоль домов, освещая лужи, почерневший снег, вывески и людей, спешащих по домам. Здесь, конечно, жизнь была куда более оживленной и более шумной, чем там, в Дидубе: поминутно трезвонили, выворачивая на поворотах, трамваи, кричали уличные разносчики, с дробным цокотом копыт проносились мимо легкие извозчицьи пролетки, гремели, подскакивая и переваливаясь на булыжнике, огромные обитые железом колеса груженных фургонов, медленно пробивавшихся сквозь людскую сутолоку к вокзалу, на грузовой двор. Все чаще и чаще стали попадаться им теперь духаны, закусовые, мелкие лавчонки, и все чаще и чаще откуда-то из-под земли, из какой-нибудь гостеприимно распахнутой двери, ведущей вниз, в подвал, вырывались на улицу хрипловатые звуки шарманки и веселые голоса людей, уже успевших устроиться там, в тепле и довольстве, возле большой бочки с вином или у пылающего очага...

Около одной из таких дверей Нико вдруг остановился и потянул Ладо за рукав.

— Больше не могу, Ладо... Прошу тебя, зайдем. Хозяин мой друг. Старый друг.

— Мне бы не хотелось, батоно. Я же знаю — там будут угощать, подносить. А я не могу.

— Почему — угощать? У нас теперь много денег. Мы сами можем их угостить. Зайдем, Ладо. Прошу тебя. Добрый, умный мой друг Ладо... Мне так хочется еще посидеть с тобой, поговорить. Выпить немного вина... Бог его знает, когда я еще увижу тебя...

— Увидимся, батоно. Мы обязательно увидимся. Завтра увидимся. Вы же обещали прийти на наше заседание...

— Да, обещал. И я приду... Но там будет много людей... А мне хочется еще посидеть, поговорить. С тобой погово-

рить, Ладо. Мы не будем много пить. Мы возьмем одну, ну, может быть, две бутылки вина, хлеб возьмем, лоби... Сядем где-нибудь в углу. Я расскажу тебе про свою жизнь, Ладо. Я еще никому не рассказывал про свою жизнь. А мне хочется кому-нибудь рассказать про нее. Хотя бы один раз. Рассказать тому, кто понимает... А ты понимаешь, Ладо. Ты художник. И ты добрый человек, умный человек. Зачем же так строго? Ну выпьешь глоток вина, что с тобой будет? А мы посидим, поговорим.

— Я слово дал, батано. Себе и другим. Нехорошо его отменять.

— А ты не отменяй. Ты только посиди со мной. Не бросай меня, Ладо. Мне с тобой хорошо. Наверное, так уже больше не будет никогда.

— Не надо, батано. Не надо меня уговаривать. Я не могу. Честное слово, не могу... Может быть, мы лучше еще погуляем? Можно ведь и на улице разговаривать, не обязательно в подвале...

— Нет, Ладо. Я устал. Я больше не могу идти. Мне надо где-нибудь сесть. И выпить немного — хотя бы стакан-два... У меня сил больше нет идти. Я уже старый, Ладо...

— А как же вы домой вернетесь, батано? Отсюда до вас порядочно... Может быть, отвезти вас?

— Зачем? Тебе не надо меня отвозить. У меня же теперь есть деньги. И посидеть хватит, и на извозчика хватит... Ты не беспокойся, я потом возьму извозчика... Ты только не уходи. Я прошу тебя, Ладо... Мне все кажется, что я тебя вижу в последний раз.

— Поздно уже, батано. Меня дома ждут. Семья...

— Дома? О, тогда, конечно... Тогда тебе, конечно, надо идти. Дом, семья... Это надо ценить, Ладо. Смолоду надо ценить. А я вот, к сожалению, не ценил. Прощай, Ладо. Благослови тебя Господь за твою доброту... Прощай. Я буду тебя вспоминать. Ты хороший человек, Ладо...

Они простились. Ссутулившись и пригнув шею, чтобы не задеть головой за низкий свод, Нико, осторожно переставляя ноги с одной скользкой каменной ступеньки на другую, стал спускаться в низ, в подвал, который был, видимо, глубокий: тусклый свет электрической лампочки откуда-то из низу, из подземелья, еле-еле доставал до входа в эту узкую дыру. И только когда сначала ноги Нико, потом спина, а потом плечи его и голова опустились вниз, стали видны в дверном проеме беленный известью сводчатый потолок над лестницей и грязные облезлые стены, захватанные за долгие

годы своего существования тысячами рук. Потом внизу тяжело стукнула еще одна дверь, выплеснув наружу взрыв нестройных веселых голосов, явно обращенных к тому, кто только что вошел, и все стихло.

Взгляд Ладо задержался на длинной, уже потемневшей от времени и облупившейся вывеске над входом в подвал: огромный бурдюк на арбе, всадник в папахе и черкеске с высоко вскинутым вверх рогом вина и надпись — «Распивочно и на вынос»... «Наверное, и вывеска тоже его. Его рука... Ах ты, Господи... Как же все не так... Как же все не так!.. Надо бы как-нибудь специально прийти сюда днем, посмотреть на нее...» — подумал Ладо и, досадливо отмахнувшись от чего-то рукой, зашагал прочь.

#### IV

В этот хмурый, слякотный декабрьский вечер у подъезда большого дома на Головинском проспекте наблюдалось необычное оживление. Величественный швейцар в расшитом золотыми галунами мундире поминутно распахивал тяжелые двери перед прибывавшими один за другим гостями. Двое городских, одетых по всей форме, с кобурой у пояса и шашкой на боку, сохраняли свободным проход от тротуара к подъезду, осаживая своими могучими спинами и широко раскинутыми в стороны руками кучки напивавших сзади любопытных, собравшихся поглазеть на происходящее торжество.

Большинство гостей прибывало пешком, спрятав головы от мелкого, пополам со снегом дождя под черными зонтами. Но были и такие, кто подъезжал на лихаче, и даже такие — их было немного, но все внимание толпы было сосредоточено, конечно, в первую очередь на них, — кто подкатывал к подъезду на собственном, сверкающем никелем и лаком автомобиле с собственным же, в фуражке и длинных кожаных крагах, шофером за рулем. Скорее всего, это был кто-то из высшего городского начальства, но поскольку все сходявшиеся и съезжавшиеся к подъезду гости были в штатском, сказать с уверенностью этого не взялся бы, наверное, никто. Впрочем, начальство тут было, пожалуй, даже и ни при чем: автомобиль сам по себе был пока еще слишком большой редкостью в Тифлисе, чтобы не привлечь внимание даже и тех, кто в ином случае просто прошел бы мимо этого подъезда, не задерживаясь, по своим делам.

Публика, вливавшаяся в подъезд, была самая разношерстная, что, естественно, вызывало у толпы некоторое недоумение: седовласые старцы и вместе с ними зеленые безусые юнцы, гость в богатой бобровой шубе и гость в тоненьком драповом пальто, а некоторые и вовсе без него, кто в крахмальной рубашке и смокинге, а кто в черной чохе до колен и в папаче, надвинутой на глаза, или же в простеньком сером пиджачке и полосатых брючках с напуском поверх штиблет. Были и дамы, но немного, и вид большинства из них, надо сказать, разочаровал толпу: так, несколько необычных шляпок, одно-два привлекательных лица, но все больше какие-то курсистки — по крайней мере ни одной из тех, кто могла бы вызвать взрыв восхищения своей красотой или своими туалетами и тем самым оправдать в глазах толпы это утомительное стояние под дождем в ожидании чего-то необыкновенного, что можно было бы потом не раз вспомнить самому и порассказать другим.

И однако, несмотря на столь незначительное присутствие дам, обстановка была самая торжественная и праздничная. Горели тяжелые люстры венецианского стекла и бронзовые канделябры в вестибюле, сияла белизной мраморная лестница, устланная мохнатым красным ковром, таинственным светом мерцали высокие, до самого потолка зеркала, отражая слегка припороженные по тогдашней моде прически или блестящие лысины гостей, медленно, без суеты и спешки поднимавшихся на второй этаж. На площадке лестницы, у входа в зал, их встречал седой представительный господин с белой гвоздикой в петлице, учтиво приветствовавший каждого из вновь прибывших легким рукопожатием и сдержанным, церемонно почтительным наклоном головы. Миновав распахнутые настежь высокие двери, гости попадали в большой зал с лепным потолком, тяжелыми волнистыми шторами на окнах и бронзовыми статуями античных богов по всем его четырем углам. Вдоль стен и посредине зала были расставлены ряды мягких плюшевых кресел с удобными подлокотниками, впереди же, чуть на возвышении, под портретом императора, стоял длинный стол, покрытый зеленым сукном и с огромной корзиной белых хризантем в самом его центре. А прямо перед столом, поближе к креслам, — маленькая трибуна, на которой уже были разложены какие-то бумаги и горела лампа под стеклянным и тоже зеленым колпаком.

Сегодняшний съезд гостей был в некотором роде завершающим итогом большой подготовительной работы по ор-

ганизации общества грузинских художников, развернувшейся около года назад. Несмотря на условия военного времени и вопреки сдержанному отношению властей, а также откровенному скепсису отдельных, наиболее анархистски настроенных представителей тифлисской художественной богемы, работа эта оказалась на удивление успешной и плодотворной. И сегодня общество могло уже не только с полным основанием заявить о том, что оно есть, существует и намерено существовать и дальше, но и провести свое первое учредительное собрание не где-нибудь накоротке, на частной квартире, а в этом прекрасном, арендованном на три года старинном особняке. Теперь-то наконец — наконец! — объединенное в единую, крепко спаянную организацию грузинское изобразительное искусство сможет занять давно походящее ему место в художественной жизни страны. А разобщенные, привыкшие жить и действовать на свой страх и риск грузинские художники получат столь остро необходимую им общественную защиту в лице собственной авторитетной и боевитой организации, способной заставить всех считаться с собой и со своими интересами.

Однако ошибается, и весьма сильно ошибается тот, кто, может быть, думает, что организация столь мощного и представительного профессионального объединения была легким делом. Дескать, собрались, договорились, пожали друг другу руки, а дальше уж оно пошло-пойдет как-нибудь само собой... Нет, ничего не дается в жизни само собой! И тем более в таком сложнейшем, таком деликатнейшем, если хотите, предприятии, как намерение собрать под одним знаменем и под одной крышей всю эту пеструю и, что греха таить, органически враждебную по сути своей всякой организованности публику — всех этих живописцев, графиков, скульпторов, художественных критиков, одним словом, всех, кто так или иначе кормится от извечного стремления человека как-то украсить и увековечить свою жизнь.

Прежде всего надо было сформировать достаточно дееспособный и авторитетный инициативный комитет, а сформировав его — решить в высшей степени непростой вопрос о таком его руководстве, которое смогло бы не только провести всю подготовительную работу, но и возглавить впоследствии, когда общество будет создано, всю многообразную деятельность его выборных руководящих органов. Одновременно необходимо было для начала обеспечить хоть какие-то материальные средства, чтобы иметь пусть небольшой, но квалифицированный вспомогательный аппа-



рат, способный оперативно выполнять неизбежные во всяком серьезном деле канцелярские функции, а также для аренды подходящего помещения и для содержания персонала, который будет это помещение обслуживать, — домоправителя, швейцара, истопника, дворника, буфетной прислуги и т. д.

Но, конечно же, наиболее сложной из задач, стоявших перед инициативным комитетом, была выработка идейной платформы будущего объединения, или, как тогда говорили, его «направления». Следует напомнить, что в те годы художественный мир страны раздирала ожесточеннейшая, все более и более обострявшаяся борьба между различными школами и творческими группировками. Каждый в те годы дудел только в свою, дорогую его сердцу дуду, не желая и слушать других, не похожих на него, и не признавая за ними не только права на выражение своих мыслей и настроений, но нередко даже и просто права на существование. Никогда прежде художники не были так разобщены, никогда в их среде не наблюдалось такого накала страстей, такой взаимной вражды и неприязни. И никогда прежде на голову человека, искренне интересовавшегося искусством, не обрушивалось такого немислимого количества взаимных упреков, обид и обвинений в некомпетентности, ретроградстве, манерничанье, а бывало, что даже и в самом заурядном мошенничестве или воровстве.

Разумеется, и речи не могло быть о том, чтобы общество грузинских художников сразу заняло в этом вопросе какую-то жесткую, сугубо однозначную позицию.

Нет, дело это требовало чрезвычайной гибкости и осторожности! Начинать, конечно, надо было с провозглашения самой широкой, ничем не ограниченной взаимной терпимости ко всем творческим течениям и направлениям. Ну, может быть, с легким акцентом на уважении к национальному прошлому и национальным традициям и, естественно, на необходимости учитывать тот, к счастью, не оспариваемый никем факт, что каждый художник творит все-таки не в безвоздушном пространстве, а для народа, для, так сказать, «человека с улицы», к мнению которого, хотим этого или не хотим, мы должны прислушиваться и из интересов которого мы и должны в первую очередь исходить.

Но если не ограничиваться сегодняшним днем — а руководство инициативного комитета, естественно, им и не ограничивалось, — то было бы, конечно, в высшей степени несерьезно думать, что такое архиважное дело, как идейное раз-

витие грузинского изобразительного искусства, может быть и в дальнейшем пущено на самотек. Слишком многое в судьбе этого искусства — а следовательно, и в судьбе тех, кто принимал его интересы столь близко к сердцу, — было поставлено сегодня на карту, чтобы можно было просто положиться на поток событий. Нельзя, невозможно было занимать пассивную позицию! Необходимо было формировать этот поток, необходимо было направить его в то русло, которое вывело бы все еще, к сожалению, глубоко провинциальную грузинскую художественную жизнь на столбовую дорогу искусства и включило бы ее в общее движение художественной и общественной жизни страны.

Докладчик — тот самый представительный господин с белой гвоздикой в петлице, который встречал гостей на площадке лестницы, — уже довольно далеко продвинулся в чтении подготовленного инициативным комитетом программного документа, когда Нико Пиросманашвили появился в зале. Часов у Нико, конечно, не было, а погода и в этот вечер была на редкость плохой — отвратительная была погода! — и дорога пешком от Дидубе до Головинского проспекта заняла у него много больше времени и сил, чем он рассчитывал. Как обычно в эту осень и зиму, ему нездоровилось, и, продрогнув, он вынужден был, пока добирался сюда, дважды задержаться ненадолго в знакомых ему подвалах, сначала на Молоканской улице, потом на Майдане, чтобы хоть немного согреться и подбодрить себя глотком-другим самого простого в этом мире лекарства от всех печалей и скорбей... Ах, как не хотелось ему идти сюда! Как не хотелось... Но он обещал, обещал хорошему человеку. И... И что ж скрывать, все-таки он на что-то надеялся. А вот на что надеялся, почему — этого, наверное, он и сам не мог бы объяснить.

Появление его в зале, уже начинавшем потихоньку дремать под несколько нудноватый голос докладчика, вызвало заметное оживление. Кое-кто знал Нико в лицо, кое-кто представлял его себе по описаниям других, и буквально все из присутствовавших либо видели его работы, либо достаточно много слышали о них, вернее, о тех скандалах и о той страстной полемике среди профессионалов, которые были с ними связаны. Как только его сутулая, суховатая фигура с тростью в руках и черной шляпой на коленях примостилась на свободном кресле в углу у входа, рядом с бронзовой Психеей, по залу пробежал шепоток и все головы обернулись к нему. Было сразу замечено, что он землисто бледен и, по-ви-

димому, нездоров, что он в шарфе, а не в галстуке и в очень поношенном, но, правда, опрятном сюртуке, что у него крупная, красивая голова, седая бородка и печальные глаза и что, как тут же остроумно подметил кто-то, такое лицо годится скорее для иконы древнего письма, но никак не для фотографии на паспорт и уж тем более не для какой-нибудь газетной или журнальной полосы.

Художники есть художники, и сейчас же с десятков из присутствовавших вытащили из карманов блокноты и, косясь на Нико через плечо, стали быстро-быстро набрасывать карандашом его портрет — кто в профиль, кто в фас, в зависимости от освещения и от того, кто как сидел. Ближе всех, всего за ряд или за два от него, оказались скульптор Яков Николадзе и Михаил Чиаурели: им-то обоим и удалось за то время, пока тянулось это долгое учредительное заседание, сделать два более или менее законченных карандашных наброска, которые, надо сказать, так и остались на будущее единственной, по существу, памятью о том, каким в действительности при жизни был Нико.

Немного привыкнув к сиянию и блеску зала, поначалу так резавшему глаза, и к тому, что столь много даже не считавших нужным скрывать своего любопытства людей уставилось на него в упор, Нико потихоньку стал осматриваться по сторонам. Очевидно, что его здесь знали, но он, как это скоро обнаружилось, не знал здесь никого или почти никого. Не знал он и этого седовласого, статного господина с гвоздикой в петлице, властным хорошо поставленным голосом читавшего сейчас с трибуны доклад. Не знал он никого и из сидевших за длинным зеленым столом в конце зала — все это были, видимо, важные господа, судя по их безукоризненно свежим крахмальным рубашкам и по тому, с какой уверенностью и непринужденностью перекидывались они между собой короткими многозначительными взглядами, когда голос докладчика начинал звучать на самых верхних регистрах.

Только один раз взгляд его вспыхнул и лицо осветилось радостной улыбкой — когда в чинном, строго одетом молодом человеке, приткнувшемся за отдельным столиком у стены, — видимо, секретаре собрания — он вдруг узнал своего друга Ладо. И Ладо тоже его узнал и даже приветливо, очень приветливо кивнул ему несколько раз головой. Но потом какой-то служитель в ливрее отвлек его, положив ему на стол кипу бумаг, и больше уже Ладо не поднимал глаз. Что поделаешь: дела, обязанности... Шуточное ли дело —

провести такое собрание! Нельзя было на него обижаться — человек молодой, честолюбивый, гордый таким ответственным поручением. И хотя и мало был знаком Нико с такими вещами, но уж слишком давно он жил на белом свете, чтобы этого не понять...

Но как же, однако, много оказалось в Тифлисе художников! А? Удивительно много... А он и не подозревал. Никогда, признаться, не подозревал... Наверное, если бы поселить их всех в одном доме, нужен был бы очень большой дом. Длинной не меньше, чем в целый квартал, а то и в целую улицу. А еще, конечно, каждому надо было бы дать в этом доме мастерскую, чтобы работать. И еще хотя бы клочок земли под окном, чтобы цветы росли и чтобы скамеечку поставить — вечером отдыхать. А вокруг всего дома деревья надо посадить, много деревьев. Можно чинары, можно тополя. Нет, лучше тополя — они быстрее растут... И еще нужен был бы зал, большой зал, куда бы другие люди ходили смотреть на то, что художники сделали. Под стеклянной крышей, чтобы днем в нем светило солнце, а ночью луна и чтобы звезды были видны над головой. А по углам в зале большие пальмы... И тогда это был бы уже не дом, а целый дворец. Настоящий дворец. И художники жили бы здесь все вместе, семьями, ходили бы друг к другу в гости, смотрели бы, кто что сделал, не ссорились бы, не ругались, помогали бы друг другу. Свадьба если, или похоронить кого надо, или кто-нибудь заболел... Что им делить? Кто первый, кто второй? Кто лучше, а кто хуже? Глупости все это... Мир велик, всем места хватит! Даже если бы каждый вдруг захотел стать художником — и то, наверное, хватило бы места всем. Не покупают? Подари, а прокормить — друзья прокормят, братья твои художники, с голоду не помрешь. Когда-нибудь настанет и твой черед, сумеешь отплатить. Не тем, так этим... А сволочь всякую в этот дом не пускать! Чтобы заразы не было, чтобы людей не обижать, чтобы они не ссорились между собой. Но таких не много, их сразу видно. На каждом таком Каинова печать... Хороший был бы дом! Большой был бы дом, красивый! И знали бы о нем везде, и люди приходили бы в него отовсюду как на праздник — торжественно, с умилением, как сейчас приходят в церковь на Пасху или на Рождество. А художники бы их встречали, угощали вином, музыка бы была, песни, танцевали бы, одежда бы была красивая у людей...

Пока Нико, полуприкрыв глаза, дорисовывал в своем воображении этот придуманный им и так понравившийся

ему самому дом, доклад кончился. Начались прения. Начались они уверенно, хорошо — инициативный комитет действительно, видимо, проделал большую подготовительную работу, поскольку первые же выступавшие сразу взяли верный тон и с самого начала направили дискуссию в деловое, конструктивное русло. Выступления были содержательные, продуманные: говорили о разобщенности художников, о необходимости объединиться, о связи искусства с народной жизнью, о материальных и других нуждах творческих работников; сдержанно, но в то же время совершенно однозначно хвалили программу, изложенную в докладе; вносили дельные и вполне реалистичные предложения по составу и будущим задачам руководящих органов общества; иногда, но осторожно, учитывая присутствие в зале начальствующих лиц, критиковали власти, недостаточно еще, по мнению некоторых ораторов, уделявшие внимание таким важным проблемам, как эстетическое воспитание широких народных масс.

Так продолжалось достаточно долго, и, поскольку список заранее записавшихся ораторов подходил к концу, в президиуме и среди членов инициативного комитета уже стали появляться первые признаки некоторого расслабления. Кое-кто в президиуме уже начал было откровенно позевывать и поглядывать на часы. Другие, осторожно отодвинув стул, выскальзывали из-за стола и исчезали ненадолго в буфетной, дверь в которую была как раз в этом же конце зала, и потом возвращались оттуда, просветленные и, безусловно, теперь уже готовые сидеть до победного конца. Докладчик и председатель собрания, близко склонив друг к другу головы, о чем-то оживленно шушукались и перелистывали лежавшую перед каждым из них тоненькую пачечку отпечатанных на машинке листков. По всему было видно, что дело явно приближалось к принятию итоговой резолюции и к выдвижению кандидатур в руководящие органы общества — в его исполнительный совет и в ревизионный комитет.

Но увы... К сожалению, никакая подготовка, какой бы солидной и тщательной она ни была, не является гарантией от случайностей и непредвиденных происшествий. Конечно, внимательный взгляд наблюдателя мог бы, наверное, уже давно заметить, что в правом дальнем углу зала творится что-то неладное. Пока шел доклад и в особенности когда развернулись прения, какие-то очень молодые и мало кому известные люди все время о чем-то перешептывались там,

явно подначивая друг друга, кашляли, сморкались, двигали креслами — одним словом, вели себя крайне беспокойно, привлекая все большее и большее внимание сначала ближайших рядов, а потом уже и тех, кто сидел в середине зала и даже почти у самых кресел для почетных гостей. Но председатель, целиком сосредоточившись на выступавших с трибуны, видимо, либо вообще упустил этот дальний угол зала из своего поля зрения, либо счел нараставший там шумок за обычное проявление человеческой невыдержанности. В общем, как уж оно там получилось, но в отношении этих молодых людей никаких своевременных мер не было принято. И, как оказалось, зря.

Нет-нет, не следует преувеличивать! В конечном итоге собрание закончилось хорошо, и цели, которые ставил перед собой инициативный комитет, были так или иначе достигнуты или почти достигнуты. И все-таки факт остается фактом: без небольшого скандала не обошлось.

Уже первый выступивший после того, как был исчерпан список заранее записавшихся ораторов, — а это был как раз один из тех молодых людей, которые так назойливо шумели в своем углу, — понес с трибуны, что называется, ни к селу ни к городу какую-то в высшей степени сомнительную чепуху относительно великодержавных тенденций в искусстве. Зал выслушал его в целом сочувственно, но, по правде говоря, без большого энтузиазма. Потом какой-то визгливый и крайне неприятный юнец в очках вообще повел себя на трибуне как на площади, сразу же вывалив на головы собравшихся целый ворох каких-то явно анархистских лозунгов об очистительной роли искусства, о великой радости разрушения и о необходимости вышвырнуть на свалку истории весь этот старый хлам отживших свой век идей и предрассудков. «Кому сейчас, сегодня нужен Леонардо да Винчи? Кому?» — визжал он, размахивая кулаками и брызгая слюной. Этого не поддержали совсем, и председателю без особого труда удалось довольно быстро прервать его бессвязную, лихорадочную речь, впихнув ее в жесткие рамки заранее установленного собранием регламента. Третий же вдруг, ни с того ни с сего обрушился на неких не названных им по имени «современных бонз от искусства», которые, не имея на то никакого морального права по своей полной бесталанности, тем не менее якобы монополизировали сегодня весь художественный рынок и всеми средствами душат других — талантливых, но в отличие от них порядочных людей, не умеющих и не желающих жить в искусст-

ве, полагаясь не на силу своего мастерства, а на силу своих зубов и локтей. Этот, следует признать, закончил под бурные, долго не смолкавшие аплодисменты всего зала, и председателю пришлось терпеливо и длинно звонить в свой колокольчик, чтобы наконец вновь установилась тишина. И в довершение всего, когда порядок был все же восстановлен и, казалось, можно уже было беспрепятственно переходить к следующему пункту повестки дня, из той же группы крикунов в углу вдруг громогласно, на весь зал, раздалось совершенно уж неожиданное:

— Пиросмани слово!

— Кому?! — захваченный врасплох, переспросил, не подумав, председатель, и брови его произвольно, сами собой поползли вверх.

Это было, конечно, его ошибкой. В ответ ему теперь уже не только в том дальнем углу, но и чуть ли не по всему залу раздалось множество других, столь же воинственных и требовательных голосов:

— Пиросмани! Пусть скажет Пиросмани! Ему слово! Мы хотим, чтобы он тоже что-нибудь сказал...

Переглянувшись с членами президиума и позвонив для порядка еще раз в колокольчик, председатель наконец беспомощно развел руками, как бы давая понять, что он вынужден подчиниться этому давлению, вернее этой странной причуде зала, и объявил:

— По просьбе присутствующих слово предоставляется господину Пиросмани, живописцу! Прошу господина Пиросмани пожаловать сюда, к трибуне для выступающих...

Медленно, опираясь на трость, Нико поднялся с кресла и, выпрямившись, оглядел замерший в напряженном ожидании зал. Прежде всего, благодарственно поклонившись и покачав отрицательно головой, он отклонил приглашение на трибуну: было видно, что он устал и, по-видимому, даже не был уверен, что до нее дойдет. Потом, помолчав немного и справившись с охватившим его волнением, он сказал — сказал тихо, глухим, слабым голосом, но так, что его слышал весь зал:

— Братья... Мне кажется... Мне кажется, что все мы сегодня говорим не о том...

Сказав, он опять замолчал — либо не имея сил больше говорить, либо, может быть, считая, что он уже сказал все. Молчание его затягивалось, но зал, включая и президиум, продолжал сидеть, не шелохнувшись и не издавая ни звука.

Тогда, поняв, видимо, что все ждут от него чего-то еще, чего-то большего, чем он сказал, Нико вытер ладонью внезапно выступивший у него на лбу пот и продолжал, глядя своими темными, печальными глазами куда-то вдаль, поверх голов:

— Вы спрашиваете, братья, что нам нужно — каждому из нас. Я вам скажу — что, потому что я много думал над этим... И раньше думал, и сегодня, когда сидел вот тут в углу... Братья! Посреди города, чтобы всем было близко, нам нужно построить большой деревянный дом, где бы мы могли собираться. Купим большой стол, большой самовар...

— Что? Что он говорит? Какой самовар? Это он о чем? — прошелестело по залу.

— Большой стол, большой самовар. Будем пить чай, говорить о живописи, об искусстве... Но только этого надо очень захотеть, братья... А вам... А вам всем, похоже, этого еще не хочется пока... Пока вы все говорите о другом... И боюсь, что вы еще долго будете говорить о другом...

Вполне естественно, что подобная речь не могла не вызвать по меньшей мере недоумения, а по правде сказать, и искреннего возмущения подавляющей части собравшихся. Даже некоторые из тех, кто числился в сторонниках Нико, почувствовали себя, мягко говоря, уязвленными. Особенно непонятным и даже, признаться, издевательским казался этот «большой самовар», и, судя по раздраженному гудению зала, ни президиум, ни рядовые участники собрания, конечно же, не могли признать эту речь за свидетельство серьезного отношения живописца Пиросмани к такому важному и нужному делу, которое собрало их сегодня всех вместе здесь. Но когда кое-кто из участников потребовал слова, чтобы дать отпор столь неуместному и недостойному серьезных людей фиглярничанью, оказалось, что Нико Пиросмани в зале уже нет. Он исчез, и никто не заметил, как это произошло.

Более того, никто из собравшихся больше уже никогда не видел его ни в Тифлисе, ни в каком-либо другом месте. Весной 1918 года прошел слух, что некий сердобольный человек с Молоканской улицы, кажется, сапожник, подобрал Нико в подвале какого-то дома у вокзала и привез его, уже в бессознательном состоянии, в больницу Арамянца, где тот и умер дня через два-три.

Так это или не так — проверить уже было невозможно. В такие смутные, беспокойные времена, когда все кругом ру-



шилось и летело в тартарары, трудно было рассчитывать, что у кого-нибудь найдутся силы и желание для выяснения этого, как ни крути, в общем-то уже частного вопроса, не имевшего принципиального значения ни для судеб грузинского искусства, ни даже для творческой судьбы самого Нико. В конце концов было известно, что благодаря стараниям искренних почитателей его таланта множество картин Пиросмани удалось так или иначе сохранить для нынешних и грядущих поколений. А это, что ни говорите, было уже кое-что!

Могилу же живописца Нико Пиросманашвили ищут до сих пор.

1985